

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ

КТО ТЕБЯ ПРЕДАЛ?

Д







ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ

КТО ТЕБЯ ПРЕДАЛ?

Повесть

РИСУНКИ
В. ВЫСОЦКОГО



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982

P2
Б 44

Беляев В. П.

Б 44 Кто тебя предал?: Повесть/Переизд.— Рис. В. Высоцкого.— М.: Дет. лит., 1982.— 224 с., ил.

В пер.: 55 к.

В повести «Кто тебя предал?» писатель рассказывает о событиях минувшей войны. Читатель увидит, что в действительности представляет униатская церковь и религия вообще; узнает о судьбе украинской девушки, которая порывает с религией и вступает в борьбу против националистов и фашистов, временно захвативших ее родную Украину.

Повесть написана по документальным материалам. В ней изменены лишь отдельные фамилии действующих лиц, географические названия и смещены во времени, уплотнены некоторые события, имевшие место в действительности.

Б 4803010102—100 258—82
М101 (03) 82

P2

Об этой книге и ее авторе

Осенью 1979 года во Львове состоялась не совсем обычная пресс-конференция. Перед журналистами выступил католический священник Бернардо Винченцо, пойманный с поличным при попытке провезти нелегально в Советский Союз крупную сумму денег. Эти деньги предназначались для передачи бывшим служителям униатской церкви, которые прилагают немалые усилия для ее возрождения на украинской земле.

Именно здесь, на Украине, ревностный католик Бернардо Винченцо впервые услышал о том, какую зловещую роль сыграла уния за три с половиной столетия своего существования, узнал о ее пособничестве фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, о многих тысячах невинных жертв, лежащих на ее совести. Он понял, что стал орудием в руках людей, которые, прикрываясь религией, ведут подрывную работу против советского строя, стремятся осуществлять грязные политические авантюры. Эти цели преследуют те, кто ратует сегодня за возрождение унии.

Что же такое уния? Слово это латинское и означает «союз». В 1596 году иерархи православной церкви на Украине под нажимом литовских и польских магнатов заключили в Бресте союз с католической церковью, возглавлявшейся папой римским, положив начало униатской церкви. Замысел вынашивался долго. Западные страны, издавна мечтавшие подчинить себе Украину, стремились любой ценой разорвать исконные узы дружбы между украинским и русским народами. Для этого они пытались заставить украинское население принять католическую веру взамен исповедуемой православной веры, рассчитывая таким путем обратить его взоры к Западу. Украинский народ должен был стать послушным исполнителем воли Ватикана, который защищал интересы власть имущих, закрывшихся на богатые восточные земли. Помочь в том должна была униатская церковь.

Впоследствии большая часть Украины вошла в состав Российского государства, где уния не была признана. В западной же части Украины, попавшей под влияние литовских, польских, а затем и австрийских правителей, униатская церковь сохранилась более чем на три столетия.

На протяжении всей своей истории она была связана с самыми реакционными силами. Именем божьим она освящала национальное угнетение украинского народа, его нещадную эксплуатацию западными магнатами. Она участвовала в подавлении национально-освободительных движений, любых выступлений трудящихся за свои права. Да и не мудрено. Защищая устои эксплуататорских классов, она охраняла свои собственные привилегии, которые получала от светских правителей за свою верную службу им.

Возглавлявшие унию иерархи лицемерно разглагольствовали о том, что они якобы пекутся о нуждах народа. А в действительности они проводили антинародную политику, поддерживая те силы, которые угнетали трудящихся. Это особенно отчетливо проявилось после победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда на Украине было поднято знамя Советской власти. Униаты приложили немало усилий для того, чтобы скрыть от верующих правду о том, что происходило на свободной Украине, влившейся в состав Советского Союза. Вместе с тем они помогали врагам Советской власти превратить Западную Украину в плацдарм для борьбы с революционной Россией.

После прихода к власти в Германии Гитлера униатская церковь, возглавлявшаяся митрополитом Андреем Шептицким, поспешила выразить ему верноподданические чувства. В фашизме униаты увидели силу, способную сокрушить ненавистную им Республику Советов. На фашизм они сделали ставку в своей политике, оказывая ему поддержку в подготовке войны против Советского Союза.

Они ликовали в тот день, когда гитлеровская Германия напала на нашу страну, когда первые бомбы упали на нашу землю. Во Львове они хлебом-солью встречали оккупантов, именуя их «освободителями». В униатских храмах звонили колокола, а священники с амвонов прославляли фашистских вояк, топтавших украинскую землю. В первых числах июля 1941 года в Львовском соборе святого Юра было проведено торжественное богослужение в честь гитлеровских захватчиков. Митрополит Шептицкий обратился к своей пастве с призывом оказывать всемерную поддержку «новой власти», которая принесла освобождение от безбожников-большевиков.

Но фашистам было мало слов. Они требовали от церкви

и дела. И духовенство постаралось доказать свою преданность «новому режиму» делами. Митрополит Шептицкий проявил неумную энергию, помогая оккупантам грабить украинское население, вывозить молодежь на каторжные работы в Германию. В своих посланиях к верующим он призывал их выполнять свой «христианский долг», хранить «доброе украинское имя», верой и правдой служа гитлеровцам.

Фашисты бесчинствовали на временно захваченной ими территории Украины, в том числе и на Львовщине. Они бросали ни в чем не повинных людей в концлагеря, подвергали их пыткам, безжалостно уничтожали их в газовых камерах, сжигали в «печах смерти». Держа народ в страхе, они рассчитывали добиться его повиновения. А тех, кто отказывался повиноваться, уничтожали.

Обо всем этом было хорошо известно главарям униатской церкви и самому митрополиту Шептицкому. Но никто из них не сделал ничего для того, чтобы остановить убийц. Напротив, они прославляли карателей, восхваляли их «решительность» в борьбе с непокорными.

Престарелый митрополит лично поддержал украинских буржуазных националистов, принимавших участие в создании воинских частей, которым предстояло сражаться на фронте против Красной Армии. Отцы-униаты призывали молодежь вступать в ряды сформировавшейся на Львовщине дивизии СС «Галичина», а Шептицкий напутствовал ее на «ратные подвиги». Сохранился снимок, на котором митрополит изображен среди «молодых католиков», которые в ответ на благословение наградили его «Почетным знаком фашистской свастики».

Дивизию «Галичина» ждал бесславный конец. Она была разгромлена советскими войсками. Список жертв, лежащих на совести униатов, пополнился сраженными на поле брани молодыми людьми, оказавшимися обманутыми своими духовными наставниками...

Множество преступлений совершили униатские священнослужители в годы Великой Отечественной войны. Потому-то значительная их часть сбежала вместе с отступавшими гитлеровскими армиями, спасаясь от справедливого возмездия. Шептицкий остался на месте. Он был стар и понимал, что дни его сочтены. В последний период жизни он постарался замести следы своих преступлений.

Но это оказалось невозможно. Предательская роль унии стала широко известной верующим людям.

Вскоре после освобождения Львова Красной Армией церковь хоронила своего многолетнего владыку. Митрополитий престол занял его верный сподвижник Иосиф Слипый. Он сделал все, чтобы спасти унию. Однако крах ее был неизбежен. В начале 1946 года по инициативе группы униатских священников, трезво оценивавших обстановку, понимавших, как запятнала себя церковь в глазах рядовых верующих, был созван церковный собор, который принял решение порвать с Ватиканом и воссоединиться с русской православной церковью. Это решение было вызвано настоятельными требованиями верующих, не желавших более оставаться в лоне униатской церкви. Унии, господствовавшей на западных землях Украины триста пятьдесят лет, пришел конец.

Многое из того, что мы знаем сегодня о черных деяниях униатов, стало известно благодаря Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая работала на Львовщине после освобождения ее Красной Армией в 1944 году. В состав комиссии был включен и писатель Владимир Беляев, прошедший всю войну в действующих войсках.

До войны Владимир Беляев писал детские книги. Его имя было хорошо известно юным читателям как автора «Старой крепости», одной из любимых книг ребят, удостоенной Государственной премии СССР. А в военные годы в газетах и журналах печатались боевые корреспонденции писателя из осажденного Ленинграда, с Карельского фронта, с Крайнего Севера. И случилось так, что в последний период войны, когда еще шли жестокие сражения с фашистами, пытавшимися сдержать натиск Красной Армии, именно на львовской земле у Владимира Беляева сложился замысел новой книги, которой суждено было увидеть свет пятнадцать лет спустя.

Участвуя в работе Чрезвычайной комиссии, раскрывавшей преступные деяния гитлеровцев, писатель обнаружил множество документов — живых свидетельств о предательской роли униатской церкви во время фашистской оккупации Украины. Знакомясь с архивными материалами, с записями допросов изменников Родины, которым не удалось уйти от расплаты, с рассказами людей, переживших

оккупацию, он шаг за шагом воссоздавал картину предательства униатских иерархов, в том числе первоиерарха, «князя церкви», митрополита Андрея Шептицкого. Одно из их преступлений было связано с трагической судьбой украинской девушки Иванны. Оно легло в основу написанного Владимиром Беляевым киносценария фильма «Иванна», удостоенного первой премии на Всесоюзном кинофестивале в Минске, а затем повести «Кто тебя предал?».

События, о которых рассказывает писатель, происходили немногим менее четырех десятилетий тому назад и для нынешнего поколения они уже стали историей. И может быть, не стоило бы сегодня ворошить прошлое, воскрешать страницы минувшего, повествующие о деяниях униатской церкви, если бы об унии можно было бы говорить только в прошедшем времени. Однако есть силы, которые настойчиво стремятся возродить ее к жизни в наши дни. Осевшие в США, Канаде и других буржуазных странах бывшие униатские церковнослужители предпринимают попытки воскресить ее.

При поддержке западных реакционных кругов доживающие свой век на чужбине отцы-униаты выступают с заявлениями о том, что униа — это будто бы исторически сложившийся союз церквей, который был насильственно разорван коммунистами вопреки интересам украинского населения. Подвизающийся ныне на Западе сподвижник Шептицкого Иосиф Слипый, возведенный папой римским в сан кардинала, произносит воинственные речи, не скрывая своей злобной ненависти к Советскому Союзу. Не скрывает он и того, что ставит своей целью отторжение Украины от братской семьи народов нашей страны.

Бывшие униатские иерархи пытаются установить контакты с людьми, некогда поддерживавшими униатскую церковь, стараются разыскать старых священнослужителей, оставшихся на украинской земле. В нашу страну зачастили под видом туристов агенты унии, подстрекающие верующих к тому, чтобы нелегально создавать униатские общины, поднимать свой голос за восстановление этой церкви на Украине. Они не гнушаются подкупом, шантажом, запугиваниями людей, любыми средствами, которые всегда применяли в своей деятельности. Одним из таких агентов был и католический священник Бернардо Винченцо, которого униаты использовали в своих целях. Он

слишком поздно узнал о преступной роли унии, особенно в годы Великой Отечественной войны. А когда узнал, обратился ко всем верующим, предостерегая их, «чтобы они никогда не дали себя втянуть в грязные политические авантюры».

Да, прошлое надо знать. Ради настоящего и будущего. Ради того, чтобы никого не могли обмануть елейные речи духовных пастырей, твердящих о любви к ближнему, о христианских добродетелях, но в то же время предающих свой народ, оправдывающих кровавые преступления, осеменяющих крестом бандитов и убийц. Об этом напоминает книга Владимира Беляева, прямо называющая тех, кто предал Иванну, тысячи ее сверстников и сверстниц, память о которых служит нам сегодня предупреждением и предостережением.

А. Белов



Светлой памяти старого коммуниста, одного из организаторов танковой промышленности Советского Союза генерал-майора Николая Всеволодовича Барыкова посвящает эту книгу

а в т о р

ПОХОРОНЫ

Мы должны были выехать на попутной трофейной машине в Рава-Русскую. По непроверенным, правда, данным, там находился большой концентрационный лагерь, созданный гитлеровцами.

Как и обычно перед новой поездкой, я заполнил свой потертый ленинградский портфельчик: фотоаппарат «ФЭД», два неисписанных блокнота, баночка чернил для вечного пера «Пеликан», купленная уже во Львове, и тяжелый немецкий пистолет «вальтер» с двумя запасными

обоймами — все нехитрое походное имущество военного журналиста.

Спускаясь по улице Сикстусской в центр города у недавно разминированного почтамта, я услышал заунывное церковное пение. Осенний ветер разгулялся над семью холмами старинного города с такой силой, будто пытался раскачать его древние башни и колокольни. Ветер рвал тугое полотнище алого знамени, недавно вновь поднятого на флагштоке городской ратуши, охраняемой двумя гордыми каменными львами.

Я не обратил поначалу внимания на церковное пение, свернул направо и добрался узкими улочками до Академической тополевой аллеи. И тут впервые увидел человека, который впоследствии помог мне приобщиться к тяжелой и весьма запутанной трагедии.

Худощавый, сгорбленный старик в летнем белом пыльнике, надвинув на лоб старомодную соломенную панаму с засаленной лентой, медленно брел серединой Академической аллеи по направлению к Оперному театру.

Ветер обрывал последнюю листву с оголенных тополей, швырял под ноги старику жесткие листья и гнал их к поблескивающему вдали памятнику Адаму Мицкевичу. Шагах в двадцати от старика ленивой походкой, то и дело заглядываясь на свежевыкрашенные вывески недавно открытых магазинов, шел коренастый человек средних лет в форме железнодорожника.

Казалось, ему нет никакого дела до бредущего впереди дряхлого старика. Только перехватив острый, пристальный взгляд, брошенный железнодорожником на человека в белом пыльнике, я насторожился.

«Следит,— подумал я.— Для чего?»

Я мог бы пересечь Академическую и пройти по улице Фредро к Губернаторским валам, к зданию облисполкома. Но интуитивно свернул налево и пошел по мокрому тротуару к гостинице «Жорж». Вдали я увидел множество развевающихся по ветру хоругвей, отчетливо услышал церковное пение, то затихающее, когда переставал дуть ветер, то возникающее с новой силой, когда хоругви вздымались выше. Перед гостиницей на сравнительно широком тротуаре собралась толпа зевак.

Маленькая курносая регулировщица в кокетливо сдвинутой набскрень пилотке, лихо управлявшая до этого

уличным движением, вдруг изменилась в лице. Слегка ошеломленная, она строго подняла полосатую палочку и закрыла тем самым выезд машин и фаэтонов с Академической на Марьяцкую площадь.

От гостиницы к площади Бернардинов медленно выплывала похоронная процессия. Открытый гроб возвышался на большом черном катафалке. В нем лежал крупный мужчина в парадном церковном облачении. Белые хризантемы обрамляли умное, величавое лицо с окладистой белой бородой и руки, скрещенные на широкой груди усопшего.

За черным катафалком с гробом, окаймленным множеством венков, медленно шагали каноники, викарии, деканы в пелеринах и без них, церковные чины в фиолетовых камилавках, протопресвитеры в одеждах, соответствующих их сану.

Важного мертвеца везли хоронить на Лычаковское кладбище. Велико же было мое удивление, когда черный катафалк, поравнявшись с вылетом узкой и грязной Кривой улочки, вдруг стал поворачивать налево. Желая сделать круг, процессия захлестнула петлей памятник Мицкевичу и собиралась вновь возвратиться по улице Коперника в нагорную часть Львова. Я догадался, что необычное для глаза советского человека зрелище не просто помпезные похороны, а тщательно подготовленная демонстрация.

Я напряженно следил, как похоронная процессия, подобно большой черной змее, постепенно окружала памятник свободолюбивому польскому поэту.

Важно шагали за гробом епископы и другие иерархи с бриллиантовыми панагиями на груди.

Монахов-студитов¹ с мальтийскими крестами, нашитыми на спинах черных реверенд, возглавлял брат покойного, игумен монашеского ордена студитов, сухопарый, весь иссохший, похожий на схимника, выползшего из пещеры, архимандрит Клементий. Опущенная низко голова архимандрита была покрыта черным остроконечным клобуком.

С лицами, исполненными скорби, медленно двигались гвардейцы греко-католической церкви — украинские

¹ Студиты, василиане, редemptористы — члены католических монашеских орденов, отличавшихся друг от друга своей обрядностью, дисциплиной, уставом.

иезуиты, монахи ордена святого Василия, — в белых целлулоидных воротничках, плотно облегающих их худые шеи.

С постными заплаканными лицами следовали за ними монахини-василианки под предводительством своей румяной, пышнотелой игуменьи Веры Слободян.

За ними печатали шаг на мокрой мостовой монахи ордена отцов редемптористов, учрежденного здесь, на украинской земле, прибывшими некогда из Бельгии католическими миссионерами.

Размахивая кадилами, то и дело раскрывая рты с узкими, высохшими губами, шли с пением заупокойных молитв опытные мастера сыска в душах, солдаты Христовы, капелланы и митраты, церковные судьи и служки консистории.

Брели, скрывая под черными сутанами многовековой опыт иезуитов, воспитатели шпионов, отлично обученные этому «искусству» мертвецом, которого они провожали сейчас в последний путь.

Старый, отживающий мир алчности и мракобесия, за-костенелый в своем мрачном великолепии, степенно, величаво шагал по улицам Львова. Хоронили митрополита Шептицкого, бывшего графа Андрея Шептицкого, бывшего драгуна, родовитого аристократа, с первых дней Советской власти поведшего ожесточенную борьбу против Советской Республики.

Много лет прошло уже с тех пор, но и теперь у меня перед глазами страшное зрелище этих похорон. Казалось, что меня и всех стоящих в тот час перед гостиницей «Жорж» перебросили с улицы советского города на четыре века назад, в жуткое и жестокое средневековье.

...Среди церковников выделялся молодой священник — Роман Герета. Его цветущий вид никак не вязался с атмосферой смерти и тления. Значительно позже я узнал, какую роль играл отец Роман Герета в трагической истории, о которой здесь пойдет речь, и сколько обманчива может быть внешность человека.

А тогда, глядя, как, потупив взгляд, скромный, внешне благопристойный молодой человек лет двадцати восьми, в хорошо сшитой реверенде, явно скучая, движется в скопище попов, я даже мысленно пожалел его и подумал: как же ты затесался среди этого старья? Тебе бы сидеть сейчас за студенческой скамьей, в политехническом институте,

изучать сопротивление материалов, электрические машины, а в свободное время ловко перебрасывать через сетку на спортивной институтской площадке волейбольный мяч. А вместо того ты идешь с этими катабасами, как твои же земляки презрительно называют служителей церкви. Идешь, закованный в черную хламиду.

Тем временем катафалк остановился перед зданием Украинского треста нефтегазоразведки, и какой-то седобородый иерарх дал знак рукой следующим сзади, чтобы они подтянулись и выровняли ряды.

С не меньшим, чем я, интересом наблюдали за этой процессией солдаты и офицеры нашей воинской части, следовавшей на фронт добивать гитлеровцев, скопившихся между Вислой и Саном. О маршруте воинов говорили решительные надписи на бортах грузовиков и закамуфлированных приземистых танков: «Добьем гада Гитлера!», «Вперед, на Запад!», «Освободим народ братской Польши!» Молодые загорелые ребята в полинявших гимнастерках смотрели на церковников и их сановного мертвеца с нескрываемым удивлением.

...У гостиницы толпились пешеходы, задержанные похоронным шествием. Я оглянулся и у себя за спиной увидел заинтересовавшего меня старика в белом пыльнике. Грустным взглядом, в котором смешивались печаль, отрешенность и вместе с тем, я бы сказал, даже злоба, он внимательно рассматривал шествие, точно отыскивал в нем знакомых. И в то же время старик показался мне добрым, мягким человеком.

Молодая девушка в дубленом полушубке и пестром платке спросила старика:

— Скажите, пожалуйста, кого это хоронят?

Старик в пыльнике посмотрел внимательно, точно изучая, можно ли доверять девушке, и глухо отрезал:

— Убийцу хоронят!

За спиной старика возникло лицо человека в железнодорожной фуражке, которого я видел и запомнил еще с Академической аллеи. Он прислушивался к разговору.

— Убийцу? — переспросила девушка.

Старик в панаме внезапно побледнел, пошатнулся и, схватившись рукой за сердце, стал клониться назад.

— Ой, ему плохо! — вскрикнула девушка.

Я успел подхватить слабеющее тело, осторожно вывел

старика из толпы за угол гостиницы и прислонил к стене. Тут как тут возле нас появился железнодорожник.

— Опять сердечный приступ! Я его знаю. То мой сосед. Позвольте я отведу его домой,— сказал он вкрадчивым голосом.

Было в том голосе что-то слишком приторное, услужливое и, как мне снова показалось, подозрительное. А может, не по себе делалось от его холодных, стального цвета, недобрых глаз?..

— Его не домой нужно, а в больницу,— сказал я, оглядываясь.

Неподалеку на козлах допотопного фиакра дремал пожилой возница с усами и бакенбардами, отпущенными в подражание австрийскому императору Францу-Иосифу. Осторожно подведя ослабевшего старика к вознице, я сказал:

— Послушайте, пане! Человеку вот плохо. Давайте отвезем его в ближайшую больницу. А заплачу вам я.

— Проще бардзо! — сразу стряхивая сон, проронил возница и стал отвязывать вожжи.

Приподняв старика, я усадил его на мягкое, лоснящееся сиденье, пропахшее кожей и лошадиным потом. Полуобнимая моего подопечного, я уселся рядом с ним. Извозчик дернул вожжи, и фэзтон мягко покатился кривыми улочками по направлению к улице Шайнохи. Резиновые шины и обмякшие рессоры скрадывали неровность мостовой.

— Ладный австрийский фиакр, цо? — полуоборачиваясь, похвалил свой выезд возница. — Лучше всякой таксувки. Люкс!

После блокадной зимы в осажденном Ленинграде я обычно не расстаюсь с валидолом. Сейчас я, почти насильно разжав зубы старика, засунул таблетку валидола в его холодные губы.

— Разжевывайте скорее!

Лекарство начало действовать быстро. Старик открыл глаза и прошептал:

— Не надо, ради бога, в больницу. Хватит с меня этой больничной пытки. Везите домой, на Замарстиновскую...

Фэзтон выехал на улицу Коперника и пересек ее почти перед самым носом у черного катафалка в венках и пышных хризантемах.

— Вот виновник моего горя и несчастий! — прошептал старик. — Но и его наказала карающая десница всевышнего правосудия...

«ДРАГУН»

Уже в первый свой приезд во Львов я заинтересовался владыкой униатской церкви, как и самой ее историей.

Какая сложная игра велась здесь, на западных землях Украины, почти на протяжении столетия, начиная с «весны народов» 1848 года, основательно пошатнувшей троны многих государств, и в том числе святейшего папы римского — Ватикана!

Габсбурги, Гогенцоллерны, австрийские бароны и польские магнаты люто ненавидели славянский Восток, к власти над которым вместе с ними рвалась католическая церковь. Разжигая украинский буржуазный национализм, верные слуги папы — отцы иезуиты — издавна стремились вслед за Галицией оторвать и всю Украину от России.

Ополячившийся род украинских магнатов Шептицких дал папству целую плеяду митрополитов и епископов, заседавших в палатах напротив собора святого Юра во Львове. Они-то и помогали набросить на шею галицких украинцев ненавистное им ярмо унии.

Ватикан в конце XIX века, когда Галиция входила в состав Австро-Венгерской монархии, начал подыскивать кандидатуру «бархатного диктатора», который смог бы, не вызывая возмущения в народе, тонко и умно подчинить себе верующих галичан. Приближенные к папе римскому давние друзья семьи Шептицких — кардинал граф Ледуховский («черный папа» — генерал монашеского ордена иезуитов) и кардинал Чацкий — подсказали его, графа Андрея Шептицкого, кандидатуру.

Еще в студенческие времена Андрей Шептицкий прославился своей нетерпимостью ко всему прогрессивному. Его избрали председателем реакционнейшего общества «Филарет» в Кракове, которое боролось с прогрессивным студенческим кружком «Читальня Академика».

Отнюдь не простая любознательность аристократа, для которого были открыты все столицы мира, а советы иезуи-

тов, чуть ли не с колыбели воспитывавших молодого графа, погнали его в свое время, после того как из офицера австро-венгерской армии он стал епископом греко-католической церкви, в далекую и снежную Россию и в Надднепрянскую Украину.

Хитрая ватиканская лиса Чацкий, кардиналы-иезуиты Ледуховский, Гергенретер и Францелин наставляли будущего «князя церкви», что именно ему надо изучать в России и на Украине. Между прочим, религиозная разведка отлично сочеталась с разведывательными планами генерального штаба той самой австрийской армии, под чернo-желтыми знаменами которой некогда служил «Драгун» — Андрей Шептицкий. Под кличкой «Драгун» Шептицкий, еще будучи военным, был занесен в шпионскую картотеку австрийской разведки.

Через аристократические салоны Москвы и Киева, через кельи древних монастырей в Хирове и Добромиле, длинными коридорами конгрегаций Ватикана в Риме проследовал молодой граф к самому папе Льву XIII. Тот с вершины ватиканского холма давно наблюдал за славным отпрыском графского рода, тесно связанного с папским престолом.

На первой же аудиенции, узнав, что молодой граф задумал стать монахом ордена василиан, папа римский прижал его к своей груди и сказал: «Орден василиан должен выполнить великую миссию на Востоке». Для этого орден надо превратить в воинствующий авангард, который поможет выполнить далеко идущие планы Ватикана. Он должен постоянно, всеми средствами разжигать украинский буржуазный национализм, вызывая ненависть к русскому народу, стремясь оторвать Украину от России. Перед отъездом из Рима Шептицкий пишет на пергаменте молитву. Он поручает господу богу свою семью и излагает жизненное кредо своего рода: «Пускай за эту веру гибнут, как святой Иосафат, и подобно тому как святая Екатерина работала и воевала для твоего наместника папы римского, так и мы будем завоевывать для него владения над Востоком».

Разными путями пошли к выполнению этой цели он и его родной брат Станислав. Граф Станислав Шептицкий открыто принял в свои руки от польской магнатории тот самый меч, на котором еще отпечаталась кровь украин-

ских повстанцев. Будучи военным атташе Австро-Венгрии, прикомандированным к русской армии, Станислав Шептицкий вел шпионаж против России во время русско-японской войны 1905 года. В 1919 году после распада Австро-Венгрии и образования буржуазной Польши он стал одним из близких польскому маршалу Пилсудскому генералов и его первым военным министром.

Андрей же, брат его, подпоясав рясу монаха-василианина простым шнурком, стал служить господствующим классам более путаными стежками, призвав себе на помощь многовековой опыт иезуитов.

В начале XX века ему был вручен жезл митрополита. Отныне стали называть его «князем церкви».

«Поинтересуйтесь, нельзя ли еще больше распространить католицизм в Белоруссии?» — дал ему незадолго перед этим точное задание прелат из «Конгрегации пропаганды веры», прибывший к нему по поручению Ватикана.

Тогда-то он, новоиспеченный митрополит, превратился в героя плутовского романа. Он поселился в швейцарском санатории Лемана и отпустил себе бороду. Друзья из австрийской разведки выправили ему фальшивый паспорт. Под именем галицкого адвоката «доктора Олесницкого», через Саксонию, кружным путем, Шептицкий в конце 90-х годов отправился в Белоруссию. Даже спустя тридцать лет, не желая раскрыть подпольную агентуру Ватикана на советской территории, биографы митрополита боялись назвать имена тех сторонников католицизма, которых он тогда посетил.

Салоны Вильно, Киева, Москвы, Петербурга охотно принимали бывшего австрийского драгуна, ставшего митрополитом, и помогали ему установить связи с белорусскими националистами.

Случай, потеря фальшивого паспорта, — и русская царская контрразведка узнала, кто скрывался под именем Олесницкого.

Единения славянских народов, их победоносного шествия к прогрессу, науке и, в конечном счете, к полной свободе пуше всего на свете боялись не только императоры Габсбурги и Гогенцоллерны, но и Ватикан. Им необходимы были разъединители славян. И не его ли, Шептицкого, жизнь на это ушла!

Все служило этому разъединению: и легенда об «австрийском рае для украинцев», басни о Галиции как о «Пьемонте украинской культуры», финансовая поддержка тех украинских националистических ученых и комбинаторов от науки, которые, подобно историку Михаилу Грушевскому, пытались доказать, что украинский народ враждебен народу русскому. Митрополит хорошо знал, что все было идеологической подготовкой к первой мировой войне и дальнейшему продвижению германизма на Восток.

Руководимая Шептицким церковь скрывала свои подлинные цели и порой, чтобы снискать популярность в народе, даже прикидывалась защитницей его погранных национальных интересов. В Австро-Венгрии Габсбургов и в Польше маршала Пилсудского он, граф Андрей Шептицкий, который долгое время был вице-маршалом Галицкого сейма, любил выступать в роли арбитра — примирителя угнетенных с угнетателями. Он стремился снискать себе славу «справедливого архипастыря». И срывался лишь тогда, когда события непосредственно угрожали благополучию класса магнатов, из которого он вышел, а значит, и прежде всего его родственникам. Так было, в частности, и тогда, когда во Львове прогремел выстрел украинского студента Мирослава Сичинского.

12 апреля 1908 года, доведенный уже до состояния отчаяния, студент Львовского университета Мирослав Сичинский проник на аудиенцию во львовское воеводство и несколькими револьверными выстрелами убил австро-венгерского наместника Галиции графа Андрея Потоцкого, ближайшего друга семьи графов Шептицких.

Выстрелы Сичинского застигли врасплох Андрея Шептицкого, восседавшего на кресле митрополита на Святоюрской горе. Не нужды и страдания украинского народа, а интересы австро-венгерской монархии и ее верных прислужников, столетиями угнетавших галицкое крестьянство, заставили владыку сказать свое слово.

Живой граф защищает убитого графа и в послании к верующим греко-католикам выступает против «политики без бога» и всячески осуждает поступок Сичинского.

Огромная армия его агентов в черных сутанах пытается внедрить в народе слова митрополита о «всемирном послушании», о том, что нельзя выступать против поработи-

телей, ибо это будет «политика без бога». Так же было, когда во время выборов в галицкий сейм австрийскими жандармами был убит галичанин бедняк-крестьянин Каганец.

Спустя два года, в 1910 году, объезжая Америку и Канаду, митрополит приехал в Ванкувер. На заводах и фабриках города работало много украинцев, которых нужда и безземелье погнало из австро-венгерского «рая» на заработки за океан. После первой же проповеди Шептицкого его забросали гнилыми яйцами и криками: «Предатель! На тебе кровь Каганца!» — прервали выступление «князя церкви».

И хотя он жертвовал часть своих средств, получаемых от эксплуатации прикарпатских лесов, на создание больниц и бурс-общежитий для украинской учащейся молодежи, передовые деятели галицкой интеллигенции давно уже поняли подоплеку распространившегося мифа о «добром» митрополите. Не обманули и его подачки голодающим художникам и артистам: всем известно было, как беспощадно эксплуатировались рабочие на принадлежащей ему фабрике бумажных изделий во Львове «Библос».

В 1914 году сохранивший выправку кавалерийского офицера, еще бравый и статный владыка благословляет добровольцев «легиона украинских сичевых стрелцов» (УСС) на борьбу против России. Благословляет на смерть за интересы австро-германских монархий. И они погибли на горе Макивка, под Потуторами, на реке Золотая Липа.

Австрийские и немецкие генералы в серых кепи, в остроконечных, затянутых сукном металлических касках присутствовали на торжественном молебне. Один из Габсбургов, великий князь Вильгельм, прозванный в народе за страсть к украинским вышитым сорочкам «Василием Вышиваным», комендант легиона УСС и прямой кандидат от династии Габсбургов в гетманы всей Украины, сложив руки на золотом эфесе сабли, почтительно глядел на него, мудрого, осанистого митрополита, умеющего управлять своими священниками и прихожанами так тонко и умно.

Он нарушил затем слово, данное им генералу Брусилову, когда русская армия заняла Львов и окружила Перемышль. Обещал не вести ни явных, ни тайных враждебных действий против России, словом пастыря и бывшего

офицера обещал, заранее зная, что не сдержит этого слова. По распоряжению военных властей он был вывезен в глубь России. На правах почетного узника.

Февральская революция освобождает Шептицкого. Давние планы Ватикана могли теперь осуществиться почти безнаказанно. Он мчится в Питер. Тайный английский агент епископ Цепляк гостеприимно предоставил уютные покои старинного особняка на Фонтанке своему давнему другу, «князю церкви», графу Андрею Шептицкому.

Но митрополит торопится в Галицию. Он рвется туда, чтобы поддержать разваливающуюся Австро-Венгерскую монархию. Как член палаты господ в парламенте Вены 28 февраля 1918 года, он заверил австрийское правительство, что украинцы «смогут самым лучшим образом обеспечить свое национальное развитие под крыльями габсбургской монархии».

Не помогло заступничество «генерала от Христа» и прочих генералов в австрийских мундирах: лоскутная Австро-Венгерская монархия все же развалилась.

Тысячи молодых украинцев Галиции были соединены в «Украинскую галицкую армию», в военную силу, вполне достаточную для того, чтобы при честном руководстве и революционных целях действительно завоевать Западной Украине ее национальные права, освободить ее от австро-польского гнета. Известно, что после распада Австро-Венгрии польская военщина захватила Галицию и она вошла в состав буржуазной Польши. Духовный отец украинских националистов Шептицкий и его клеветы повернули «галицкую армию» лицом к Украине для того, чтобы якобы «освободить» страну Шевченко, Гоголя и Лысенко, Котляревского и Грабовского.

Он благословил галицкую молодежь в бесславный контрреволюционный поход к «Золотым воротам» Киева, непосредственно участвовал в предательстве, которое закончилось крахом украино-польских боев за Львов.

Пока галицкие «сичевые стрельцы» тысячами гибли от сыпного тифа на «большой Украине», он помогал пилсудчикам во Львове подавлять революцию на Украине.

А когда во Львов пожаловали почетные гости из командования войск Антанты и президента Вильсона — французский генерал Бартелеми, английский генерал Картон де Виятр, делегат Соединенных Штатов Америки профес-

сор Лорд, английский полковник Смит,— Шептицкий подчинился их воле.

Это по их прямому настоянию галицкие украинцы вынуждены были прекратить вооруженную борьбу за свой исконный исторический город, чтобы спустя некоторое время видеть, как под торжественный перезвон колоколов всех католических костелов и монастырей Львова по мостовым, на которых еще так недавно аяла кровь убитых украинцев, будет проезжать встречаемый победителями сам маршал Франции Фош, один из создателей католического «санитарного кордона», против большевизма. Польша должна была стать таким заградительным кордоном против проникновения коммунистических идей в Европу.

Не только военный министр правительства Пилсудского генерал Станислав Шептицкий, папский нунций в Польше, монсеньор Ратти — будущий папа Пий XI, но также и он, митрополит греко-католической церкви Шептицкий, деятельно помогали создавать такой кордон.

В конце двадцатых годов граф в мантии митрополита созывает в свою палату на Святоюрской горе самых верных ему представителей галицкой украинской буржуазной интеллигенции и духовенства.

Оставляя в книге посетителей автографы и целуя затем перстень на морщинистой, дряблой руке «князя церкви», возле его трона рассаживаются: судебный советник в отставке Алексей Саяк, один из бывших руководителей «Січових стрільців» доктор Мыкола Галушинский, священник Петр Голинский и Иосиф Раковский, лица светские — Роман Гайдук, Алексей Мельникович и представительница католичек, исступленно обожествляющая Шептицкого, Мария Янович.

Митрополит по-отечески благословляет каждого из них и затем предлагает подписать программное заявление об организации «Украинской народной католической партии». Митрополит выражает надежду, что новая партия сможет довольно быстро занять видное место в общественной жизни Галиции. Она будет тараном в общих мероприятиях по укреплению католицизма, известных в народе под названием «Католического Действия».

«Князь церкви» создает еще одну фалангу воинствующего католицизма и одновременно мышеловку для поимки оппозиционно настроенных галичан. Сам он остается и на

сей раз верен своей излюбленной манере — быть в тени и через подставных лиц дирижировать с холмов Святоюрской возвышенности, подобно тому как его святейший пап-трон папа римский дирижирует подготовкой к новой мировой войне с высоты Ватиканского холма через господина Видалэ и других верных агентов Рима.

Так во Львове, единственном в мире городе трех митрополий Ватикана — римско-католической, греко-католической и армяно-католической (последняя в годы немецкой оккупации занималась вербовкой польских армян в гитлеровский «армянский легион»), — появляется еще один центр вмешательства в общественно-политическую жизнь галичан — «Украинская народная католическая партия».

Для того чтобы придать известность новой, воздаваемой по указанию Ватикана партии и утвердить в народе мысль об ее «оппозиции» к правительству Речи Посполитой, львовская полиция с места в карьер конфискует первое издание программного заявления.

Митрополит Шептицкий предпринимает «интервенцию». Он звонит официальным чинам полиции, воеводства, обращается в Варшаву и, конечно же, добивается снятия цензурного запрета. Цель достигнута вдвойне: широким кругам украинцев становится ясно, что пилсудчики «не довольны» новой затеей Шептицкого. «Святоюрские крысы» немедленно используют этот предлог для новой волны слухов о том, что «Шептицкий защищает украинцев».

Однако события того же октября 1930 года на землях Западной Украины разрушили всякие надежды «хозяйственного равновесия» и «общественной гармонии», к которым стремился митрополит и его новая партия. По всему миру проносятся вести о кровавой «пацификации» на восточных окраинах Польши. Таким нежным словом «умиротворение» называли пилсудчики кровавые экспедиции против украинского населения в Западной Украине. Сжигаются целые села, население бежит в леса. Наиболее активная его часть берется за оружие, поджигает панские экономии, нападает на «осадников»...

Вождю галицких священников было безразлично, что сторают целые украинские села, подожженные польскими уланами, что тысячи украинцев холодными дождливыми ночами бегут с насиженных мест в леса Тернопольщины

и Ровенщины, что подчас за портрет «гайдамака» Тараса Шевченко, найденный в сельской читальне «Просвіта», население подвергается неслыханным преследованиям. Если он, называвший себя «духовным отцом украинского народа», был и взволнован всем этим, то лишь только потому, что боялся ответного роста революционного движения.

Когда «генерал во Христе» понял, что «Украинская католическая партия» не в состоянии утихомирить народ, он начинает действовать языком военного приказа.

О, в уме ему никак нельзя было отказать! Он проводил свою политику тонко. Он понимал, что всякие крутые меры против народа, который не раз и не два подымался против насильственной и быстрой латинизации с оружием в руках, могут вызвать снова народные волнения и ускорить процесс революционного брожения в Галиции. Гибкий же, осторожный метод осуществления планов Ватикана казался кой-кому либерализмом Шептицкого, его «симпатиями к православию» и только лил воду на мельницу митрополита.

Сидя в своем уютном кресле-троне, он перечитывал «Анти-Дюринг», «Диалектику природы» и «Капитал». Читал для того, чтобы, зная основы научного социализма, всеми силами своего разветвленного церковного аппарата бороться против ненавистного ему с детства, «опасного» учения, все больше и больше проникавшего в города и села Западной Украины и поднимавшего народ на единственно правильный путь прямой борьбы с захватчиками.

«Осторога Его Эксцелленции, высокопреосвященного митрополита Кир Андрея Шептицкого перед угрозой коммунизма», опубликованная в 1936 году, начинается словами: «Кто помогает коммунистам в их работе, даже чисто политической, предает церковь!»

Трудящиеся всего мира в тот год объединяются для отпора фашистской коричневой чумы. Призывы Народного фронта звучат во всем мире, а в Западной Украине первый покровитель украинских фашистов Шептицкий в своем «Предостережении» утверждает: «Наступила минута, когда надо беспрестанно напоминать, что народный, или людovýй, фронт является противонародным»...

Но обстоятельства времени все же требуют от Шептицкого, чтобы он разъяснил пастве в своей «Остороге», которую читает с амвонов целая армия его черных воронов в

длинных реверендах: а чем же все-таки является фашизм, против которого зовут выступать угнетенных всего мира коммунисты? И вот тогда голос Шептицкого сразу приобретает вкрадчивое, бархатное звучание. Оказывается, словом «фашизм» коммунисты называют «народные партии, всех националистов во всех странах».

Это писал и говорил старый немецкий агент граф Шептицкий в то самое время, когда с безоблачного неба Испании «хейнкели» и «савойи» со свастиками на фюзеляжах обрушивали смертоносный груз бомб на Гернику, на Мадрид, на другие города католической Испании, убивая сотни испанских женщин и детей!

Это вещал Шептицкий, когда папа римский, его повелитель, благословлял берсальеров Муссолини, чтобы те шли убивать и травить газами христиан Абиссинии!

Это писал и говорил, требуя, чтобы его слова, изложенные в брошюрках библиотеки «Свет солнца и любви», распространялись в народе, граф Шептицкий в тот самый год, когда хорошо известный советской разведке гитлеровский шпион Отто Абец организовывал широко разветвленную «пятую колонну» во Франции, покупал оптом и в розницу целые кабинеты будущих коллаборационистов министров-католиков. Немецкий агент Шептицкий обманывал народ, призывал его к ненависти против Советской власти и «красной Москвы» в то самое время, как у него по соседству ревностные католики в синих мундирах польской полиции и агенты дефензивы забивали насмерть в лагере Береза Картусская борцов с фашизмом, лучших сынов украинского и польского народов...

Это писал и говорил Андрей Шептицкий, тот самый «князь церкви» и «украинский Моисей», который семью годами позже, уже после сталинградского разгрома немцев, в 1943 году, все еще надеялся на победу фашизма и писал: «Ближайшее весеннее наступление немецкой армии нанесет последний и окончательный, смертельный удар Красной Армии»...

Не успели гитлеровцы 30 июня 1941 года ворваться во Львов, как в соборе святого Юра был отслужен торжественный молебен в честь немецкой армии. Целая стая приближенных к Шептицкому греко-униатских священников, надрываясь от усердия, пела «многая лета» палачам украинского народа — немецким фашистам. Сам митрополит

Андрей Шептицкий обратился со словами нежнейшего приветствия к гитлеровской армии и Адольфу Гитлеру, оправдывая тем самым свою репутацию давнего немецкого агента...

Все это промелькнуло в моей памяти, пока я вез больного старика.

Но какое отношение имел владыка к трагедии бедняги и за что тот назвал владыку убийцей?

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

Не задавая лишних вопросов о горе, постигшем человека, я счел своим долгом проводить его домой, до постели. Пусть убедится в гуманизме людей, прибывших с Востока. Пусть поймет, что мы отнюдь не «рогатые антихристы», какими долгие годы старалась представить нас буржуазная пропаганда, а затем гитлеровские захватчики. С другой стороны, я был заинтригован профессионально, так как мне, в числе других членов комиссии, приходилось с первых дней появления на этой древней земле расследовать гитлеровские преступления. Тайна, за которой таилось большое человеческое горе, естественно, заинтересовала меня.

К моему удивлению, фиакр остановился не у жилого дома, а у монастырского здания, возвышающегося на бугре и огороженного массивной крепостной стеной. Прикосновением пальца старик остановил возницу перед высокой колокольной странной четырехугольной формы. С двух сторон, с улицы ко входу в колокольню и еще выше, на погост вели выщербленные каменные ступеньки древней лестницы. У подножия, в нише, серела статуя коленапоклоненного святого — патрона церкви и здешнего монастыря святого Онуфрия. В начале прошлого века не раз эту статую утаскивали по ночам на окраину города пьяные львовские босяки, или «батяры». Перенесение святого на природу было их любимой забавой.

— За этой вот оградой упокоился много лет назад ваш земляк, тоже прибывший сюда с Востока, первопечатник Руси Иван Федоров, — сказал старик. — А сейчас я попрошу вас, любезный, коль вы были так сострадательны ко мне, подняться во двор и зайти направо в келью двадцать

один. Там должен быть приютивший меня отец Касьян. Скажите ему, что я здесь, и попросите сойти. Если же нет его дома, поедem дальше.

Признаться, слово «отец» несколько меня насторожило. Когда же, найдя нужную келью, я застал в ней высокого священника в сутане и целлулоидном белом воротничке, облежавшем его загорелую шею, моя настороженность усилилась еще больше.

«Вот те и на! — подумал я. — Решил помочь старому человеку, а попал в гнездо церковников. Этого еще не хватало!»

Отец Касьян принял меня очень любезно и, когда я объяснил ему, что привело меня сюда, заторопился, сказав, что он сам приведет сюда «отца Теодозия».

— Позвольте, но я не расплатился с извозчиком! — сказал я.

— Ну, это пустяки, — отмахнулся священник. — Вы нам оказали неоценимую услугу! — И он быстро вышел, оставив меня одного в келье с низкими сводчатыми потолками.

Отец Касьян говорил по-русски без всякого акцента, чисто и даже несколько старомодно. Это было большой редкостью в этих краях, особенно для служителей униатской церкви, к которым, судя по облачению, принадлежал и хозяин кельи. Разглядывая ее неприхотливое убранство и столик с последними номерами львовской газеты «Вільна Україна», я сделал вывод, что обитатели кельи интересуются текущей политической жизнью.

К работе в комиссии по расследованию гитлеровских злодеяний, совершенных в западных областях Украины, нам приходилось привлекать и служителей церквей. Фраза же: «Хоронят убийцу», услышанная мною от старика, особенно заинтересовала меня.

Старик в панаме еще пошатывался, когда отец Касьян ввел его под руку в келью. Священник сразу уложил старика на узкую коечку под окном и принялся расшнуровывать стоптанные, запыленные башмаки с тупыми носами.

— Вот спасибо, вот спасибо, отец Касьян, — тихо приговаривал старик. — Молодой человек проявил столько христианского милосердия и доставил меня сюда. Случись иное — больница бы меня убила. После всего, что произошло, не выдержал бы я ее!

Тем временем отец Касьян достал из шкафика, прибитого к стене, лафитничек из малинового стекла с гранеными боками, наполненный какой-то жидкостью, и поставил на столе две рюмки.

— Чем хата богата, тем и рада, — сказал он, придвигая ко мне рюмку и доставая из шкафика блюдо с домашним печеньем. — Это наша, монастырская, настоящая на почках черной смородины. Не побрезгуйте! — И он налил в рюмку темно-зеленую жидкость, от которой сразу распространился по келье запах весеннего сада.

— Спасибо, я не пью! — отказался было я.

— Да вы не бойтесь! Одна рюмочка не повредит, — сказал, улыбаясь, священник и, налив свою рюмку, тут же пригубил ее, доказывая тем самым, что мне нечего опасаться его зеленого угощения.

Делать было нечего. Чтобы меня не заподозрили в трусости, я тоже отпил половину рюмки пахучей, слегка горьковатой настойки.

— Весна, пойманная в бутылку, — сказал отец Касьян. — Сделана по отцовскому рецепту. Когда мы жили в Бердянске, на Матросской слободке, в садике у хозяина-рыбака было много кустов черной смородины. Бывало, как весна, отец нащипает молодых листочков и в бутылку их, а потом заливает виноградным самогонном. Самый сильный витамин, если, конечно, не злоупотреблять им.

— А вы давно из Бердянска сюда возвратились? — спросил я.

— Как и все беженцы. После Рижского договора России с Польшей, — сказал священник.

— Вас туда вывезли после Брусиловского прорыва, еще в годы первой мировой войны?

— Вы угадали. Оказывается, вам знакома история нашего края! — удивился священник.

— Я историк по образованию и сам некогда работал в Бердянске и в Ростове-на-Дону. Тамошние люди рассказывали, что в первую мировую войну у них жило много беженцев из Галиции.

— Я не всегда носил сутану, — продолжал священник. — В Бердянске я учился в светской гимназии, правда не закончил ее. Приехал сюда, и родители определили меня в частную украинскую гимназию, которую основали меценаты Кукурудзы. Кончил ее, а дальше дороги нет.

Украинский университет здешние магнаты открывать не разрешали. В Галиции, под австрийским, а затем польским владычеством, многие молодые люди, чтобы обеспечить себе кусок хлеба и получить образование, вынуждены были идти в духовные семинарии. Ведь это было единственное учебное заведение, куда свободно принимали украинцев. Поступил и я туда. Закончил семинарию, получил сан. Ждал вакантного прихода, а тут ваши войска пересекли реку Збруч осенью 1939 года — Советская власть объявлена. Добрые люди помогли мне стать педагогом. Ну, а когда немцы все школы позакрывали, пришлось пойти в консисторию и опять надеть сутану...

Легкий храп, доносившийся с койки, на которой лежал мой случайный знакомый, заставил меня заторопиться.

— Теперь вы знаете, где мы живем. Милости просим, заходите в свободное время! — сказал отец Касьян и, поглядев в сторону спящего старика, добавил: — Когда же отцу Теодозию станет лучше, он сам расскажет вам историю своей жизни. Это очень поучительная и очень печальная история!..

...В Раве-Русской мы обнаружили на окраине городка окруженный колючей проволокой лагерь для советских военнопленных, созданный здесь фашистами. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в этом лагере за год было уничтожено больше восемнадцати тысяч советских солдат и командиров!

Пожилой крестьянин Василий Кочак тихим голосом, озираясь, как бы его не подслушали, рассказал:

— Я работал туточки с декабря тысяча девятьсот сорок первого года до весны тысяча девятьсот сорок второго года. За это время немцы уничтожили и заморили голодом больше пятнадцати тысяч русских. Их трупы отвезли на тракторных прицепах в Волковыцкий лес. Я знаю место, где они зарыты.

— Знаешь, старина? — спросил председатель комиссии. — Тогда поехали с нами...

Страшное зрелище открылось перед нами, когда солдаты расположенной неподалеку воинской части, сопровождавшие нас на грузовике, разрыли братскую безымянную могилу: набросанные вповалку друг на друга люди в советской военной форме с пулевыми ранениями в затылках. Их расстреливали по испытанному методу

гитлеровцев — в затылок. Сотни и тысячи трупов наших людей. Вот он, фашизм!

Мы вынули у многих из карманов предсмертные записки, блокнотики с адресами родных, сняли с истлевших рук медальоны, определили — на выборку — причину смерти людей, сброшенных в эту общую глинистую яму.

Потрясенные увиденным, мы молча возвращались в Рава-Русскую, как вдруг слева, поодаль, под лесочком, я заметил маленькое, очень опрятное кладбище, огороженное стволами берез. У входа в него, как бы впаянный в лесной грунт, стоял каменный алтарь с большим крестом.

Я тронул Кочака за плечо и спросил:

— Что это?

— Здесь французов похоронили. Тех, что полонили гитлеровцы...

Французы? Новое открытие! Свободная Франция, как и мы, находилась еще в состоянии войны с гитлеровской Германией, и у нас была возможность сообщить по радио и через печать, что сделали здесь, на украинской земле, с людьми Франции фашисты. И я предложил вернуть к этому маленькому кладбищу.

На ровных могилах лежали каменные одинаковые подушечки с надписями. Я насчитал двадцать два надгробия и две насыпи без них. «Боне Рожер, родился в 1911 году. Годи Пьер, родился в 1915 году. Дастю Пьер. Леплей Жозеф. 30 лет. Самье Арман. Блонди Рожер. 29 лет. Посе Поль. 34 года. Гюйон Андре. 30 лет. Райно Шарль. 29 лет. Витто Эужен. 34 года. Сирг Камиль. Бонуа Альфон. Котье Рожер...» — читал я своим спутникам фамилии, а про себя думал: «Какая судьба забросила этих сыновей Франции на украинскую землю? Какую тайну скрывает это чистенькое, уютное кладбище, огороженное березовой изгородью?»

Я предложил разрыть несколько могил, чтобы установить причины смерти французов. Но мои спутники запротестовали. Один из них так прямо и сказал:

— Да вы видели сейчас, как там, в Волоковецком лесу, зарыты наши люди, убитые выстрелами в затылок? Навалом? А эти похоронены культурно, даже алтарь каменный для богослужений есть...

И все же после моих настояний солдаты разрыли одну могилу, с большим трудом вытащили на поверхность один

деревянный, хорошо сохранившийся гроб. Тут я был посрамлен окончательно. Когда с треском раскрылась крышка гроба, мы увидели полуразложившегося мертвеца в полной военной униформе французской армии.

Страшно было смотреть на его оголенный череп над провалившимися глазами и оскаленными, как бы в предсмертной муке, белыми молодыми зубами. Мундир был цел, и на ногах сохранились даже шерстяные носки малинового цвета и крепкие солдатские ботинки. Нет, гитлеровцы не обряжали так в последний путь свои жертвы после расстрела и не складывали им руки на животе!

Один из судебно-медицинских экспертов осмотрел останки француза и, стягивая резиновые перчатки, сказал:

— Вероятнее всего, инфекционное заболевание. Тиф или, скажем, дизентерия. Но его не убивали. Тем более одет так парадно! Каков был смысл гестаповцам наряжать его под землю?..

Всю дорогу мои спутники нет-нет да и подтрунивали над настойчивостью, с какой я просил их потревожить смертный покой Рожера Блонди. Ведь задержка у французского кладбища отняла у нас добрых два часа. И все же меня не покидала убежденность в том, что маленькое кладбище, которое мы недавно осматривали, тоже скрывает какую-то тайну. Не является ли оно одним из звеньев большой трагедии, постигшей людей, попавших по стечению обстоятельств с берегов Средиземного моря на украинскую землю?

«ОБЕДЫ, КАК У МАМЫ»

В ту последнюю военную осень во Львове было еще много частных буфетов и киосков, где торговали всякой всячиной последние спекулянты. Перед зданием городского Совета, там, где каменные львы стерегут и поныне вход в бывшую ратушу, существовала крохотная столовая с вывеской: «Обеды, как у мамы».

В длинной комнатке, уходящей в глубь старинного дома — она сохранилась еще с времен Магдебургского права, — стояло пять или шесть столиков. Содержательница столовой, почтенная седая пани Полубинская, готовила за клеенчатой занавеской на газовых плитках еду. Помогала ей в этом дочь Данута — высокая, стройная брюнетка лет

двадцати двух, в пестром платье, легко и изящно облегающем ее фигуру. Всякий раз, посещая столовую «Обеды, как у мамы», я любовался врожденной грацией пани Дануты, тем, как легко передвигается она в проходах между столиками, на ходу отбрасывая назад густые вьющиеся волосы, подает еду.

А какие вкусные блюда здесь готовили! Сочные венские шницели из телятины с обильным гарниром. Прекрасные, наваристые борщи, как бы позолоченные сверху пленкой прозрачного жира. Польские супы-журеки. Вкуснейшее и простейшее из блюд — «штука мьенса з зупы з квяткем», или кусок мяса из супа с цветком. Но, пожалуй, лучше всего здесь делали «флячки од Теличковой». Была когда-то во Львове такая искусница гастрономии, которая изобрела целый сложный процесс изготовления традиционного львовского лакомого блюда из коровьих желудков. Не поймешь вначале — суп это или второе, но стоит тебе положить в рот первую ложку, ты сразу ощутишь блаженство. И обязательно потребуешь вторую порцию.

Поздоровавшись с пани Данутой, я заказал себе флячки и бокал пива и, глядя, как лавирует девушка между столиками, подумал о том, не сможет ли она пролить свет на историю с французами.

— Пани Данута, — спросил я, — не знаете ли вы, во время немецкой оккупации во Львове были французы?

— Почему «были»? — ответила девушка, отбрасывая назад свои волосы. — Они есть и сейчас.

— Как «есть сейчас»? Где?

— В пансионате, у мадам Вассо. На улице Кохановского, под тридцать шестым номером...

Мадам Ида Вассо-Том, рассказала Данута, жена погибшего во время оккупации хозяина мельницы Тома. Она проживает во Львове давно по французскому паспорту. Одно время даже выполняла консульские поручения французского, а в годы оккупации — петеновского правительства. Сейчас мадам Вассо приютила у себя целую группу бывших французских военнопленных, которые иногда заходят «на одно пиво» в заведение «Обеды, как у мамы»...

Первый раз я оставил недоеденным любимое блюдо и, попрощавшись с Данутой, быстро отправился на улицу Кохановского.

Поднимаясь по древней и скрипучей деревянной лестнице дома, обросшего диким виноградом, я услышал французскую речь. Она вырывалась в лестничный марш из полуоткрытой двери, на которой была приверчена позеленевшая от времени медная табличка с надписью: «М-ме Ида Вассо-Том».

Как маленькая амбразура старинной крепости, виднелся прорезанный в двери и окаймленный медью традиционный глазок — через него хозяева могли изнутри видеть нежелательных гостей и не открывать в таких случаях дверь.

Я потянул рукоятку звонка. На пороге появилась седая женщина в старомодном платье, с зорким, прощупывающим взглядом. Такими обычно рисуют хозяек французских меблированных комнат или ресторанов.

На ломаном французском языке я объяснил цель своего визита. Мадам Вассо расплылась в улыбке и попросила меня проследовать к ее «питомцам».

Большая, довольно мрачная комната, в которую меня ввели, производила странное впечатление. На стенах висели ценные картины голландских, французских, австрийских и польских мастеров, а посредине комнаты стоял большой деревянный стол, уставленный посудой с недоеденной пищей. Вокруг, на простых походных кроватях, лежали, задрав кверху ноги, и сидели, разговаривая, французы. Я пригласил двух французов выйти на улицу и погулять. Откровенничать при мадам Вассо не хотелось. Данута ведь упомянула о связях хозяйки пансионата с правительством Петена, которое сотрудничало с фашистами.

Мы пошли втроем улицами осеннего Львова. Осторожными, наводящими вопросами я пробовал узнать, как они сюда попали, прикоснуться к тайнам их военной судьбы.

Впрочем, надобности в такой осторожности вовсе не было. Когда я спросил, не знаком ли им лагерь в Рава-Русской, один из них, Жорж де Фуль, оживился и, жестикулируя так, как, должно быть, жестикулировал на родине во время боя быков в его родном Арле, быстро выпалил:

— Ну как же! Как же! Я отлично знаю этот дьявольский лагерь. Нас доставили туда ночью из Франции, после тяжелых пяти суток пути в закрытых свинных вагонах. Из вагонов нас вытягивали, потому что военнопленные ослабли. Немецкий унтер-офицер крикнул нам: «Вот вы и приехали в страну солнца!» Боже, какой ужас этот лагерь!

Позже немец-адъютант, уроженец Страсбурга, хорошо говоривший по-французски, признался нам, что в лагере уже умерло от одного только тифа более трех тысяч русских. «Мы зарываем их тут же, на территории лагеря. Случается, что среди них бывают и живые. Все равно их бросают в ямы и засыпают негашеной известью, от которой они задыхаются», — рассказывал немец. Еженедельно в лагерь привозили по тысяче французов, которые не хотели работать в Германии...

— В лагере был только один водопроводный кран на двенадцать тысяч человек, — вмешался в разговор второй француз, Эмиль Леже. — Пользоваться им разрешали только четыре часа в день. Немецкая охрана избивала нас. Мы голодали. По утрам, во время переклички, мы едва стояли на ногах. В день нам давали двести граммов хлеба, по утрам — горячую воду с сосновыми иглами и пол-литра бурды, которую никак нельзя было назвать супом. Спали мы на полу. Блохи, вши...

— Ну хорошо, — прервал я Эмиля Леже, решив действовать в открытую. — Как же совместить то, что вы рассказываете, с хорошо оборудованным кладбищем для французов около леса? Неужели немцы лучше заботились о мертвых, чем о живых?

— Кладбище около леса? Кладбище около леса? — оживленно воскликнул Жорж ле Фуль и захохотал, хотя момент для этого был явно неподходящий. — Так ведь это геббельсовская липа чистой воды...

— Да погоди, Жорж! — резко остановил товарища Леже. — Нашел над чем смеяться. Давай объясним толком русскому экривену¹, как было дело. Понимаете ли, в печать нейтральных стран и в британское радио стали просачиваться вести, как мы живем в этой «стране солнца». Комиссия Международного Красного Креста в Гааге решила проверить на месте, верны ли рассказы об этих ужасах. Вот тогда-то гитлеровский министр пропаганды Геббельс дал команду соорудить образцово-показательное кладбище. Пока его готовили, пока каменотесы сооружали алтарь из гранита, наших покойников обряжали для этого фарса. Самолетами из Франции привезли для них специальную новую униформу из интендантских запасов на

¹ Писателю.

тот случай, если комиссия потребует сделать эксгумацию. И надо вам сказать, что элегантно кладбище отвело глаза комиссии от тех ужасов, которые мы, живые, ежедневно переживали в лагере. И если даже вам, советскому человеку, вид кладбища застил глаза...

Уловив упрек в словах Эмиля Леже, я спросил:

— Но как же все-таки вам удалось вырваться из этого ада?

— О, это уже совсем другая история! Нас впоследствии перевели сюда, в Цитадель. Вы знаете, что такое Цитадель? — спросил Леже.

...Да, я уже знал Цитадель — страшный лагерь смерти, сооруженный в самом центре Львова, на горе Вроновских, в бастионах, построенных в середине прошлого века по приказу австрийского императора. На всю жизнь останутся в моей памяти надписи, обнаруженные нами на закоптелых стенах бастионных подвалов: «Тут умирали от голода русские военнопленные тысячами», «Доблестная русская армия, вас ожидает с нетерпением не только народ, но и военнопленные, обреченные на смерть! Как тяжело умирать!»

— Я хорошо знаю, что такое Цитадель, — ответил я. — Но ведь оттуда вырваться было еще труднее, чем из расположенного на окраине Рава-Русской и слабее охраняемого лагеря?

— Нам никогда бы не удалось сделать это, если бы не помощь извне. Мы убежали оттуда ночью. Вместе с русскими нас было триста человек...

— Триста человек! — воскликнул я. — Ведь это же большой побег! Какая организация помогла вам?

— Мы думали тогда, что нам помог всего один человек, — сказал Леже. — Девушка. Милая девушка. Монахиня. Даже если нет на свете бога, каждый из нас будет молиться за нее всю жизнь как за подлинную святую...

По непонятной мне ассоциации я вспомнил дневную встречу с двумя священниками за стенами древнего Онуфриевского монастыря, где некогда печатал свои первые работы «друкарь книг пред тем невиданных», русский умелец Иван Федоров...

Монахиня? Никто не знал, кто она? А не знает ли об этом отец Касьян? Или отец Теодозий?

ПОЛУЧАЮ ТЕТРАДЬ

Когда я вошел в знакомую монастырскую келью, отец Теодозий сидел в удобном старомодном кресле и, как это ни странно, читал «Правду».

Я поздоровался со стариком, осведомился о его здоровье и, получив приглашение садиться, с места в карьер спросил, не известно ли отцу Теодозию что-нибудь о монахине, которая помогла бежать из Цитадели большой группе советских военнопленных.

Старик сразу изменился в лице и посмотрел на меня грустными глазами. Газета с легким шорохом выпала у него из рук и, опустившись на пол, покрыла стоптанные ночные туфли священника.

Помолчав, он тяжело вздохнул:

— Да, знаю, очень хорошо знаю. Эта монахиня была моей дочерью... — и зарыдал тяжело, глухо.

А я сидел перед ним совершенно ошеломленный.

Отец Теодозий встал, подошел к шкафчику и, открыв его, достал с полочки тетрадь в коричневом гранитолевом переплете. Он протянул ее мне со словами:

— Извините, рассказывать об этом сам не могу. Трудно. Еще очень трудно. Я доверил все, что знаю, бумаге. Здесь вкратце все изложено. Возьмите и прочтите на досуге. Вы ведь человек с Востока и куда лучше многих местных людей поймете меня.

Страницы тетради заштатного священника отца Теодозия Ставничего познакомили меня с трагедией тех оккупационных



времен, когда героизм и человеческое благородство соседствовали с торжествующей подлостью и предательством. Однако отцу Теодозию было известно далеко не все, имеющее отношение к западне, в которую заманили его дочь. Много новых деталей пришлось узнавать уже мне самому, работая в архивах, беседуя с бывшими узниками львовской Цитадели и работниками органов безопасности, изучавшими период немецкой оккупации.

Во многом помогли мне бывшие французские военнопленные, настоящие парни, ненавидевшие гитлеровцев. Особенно мой старый знакомый Эмиль Леже. Он охотно помогал мне в поисках новых фактов, способных прояснить картину преступления.

Французы ждали отправления на родину через Одессу, времени у них было свободного много. Они подолгу бродили со мной по бастионам Цитадели, уезжали в огромные песчаные овраги, или запросто, на «Пески», за предместьем Лычаков и там на местности показывали, как пролегал их маршрут побега из лагеря.

Надо полагать, работа по восстановлению правды о тех годах, когда мои французские друзья были почти на краю смерти, кровно интересовала каждого из них. Спустя несколько лет Эмиль Леже прислал мне письмо из Франции, из маленького городка, военным комендантом которого он был назначен. Леже расспрашивал, удалось ли мне выяснить новые обстоятельства их побега из Цитадели, когда темной весенней ночью 1944 года весь старинный город внезапно огласился ревом полицейских сирен, выстрелами патрулей, а по его узким улицам, нащупывая беглецов, шарили синие лучи прожекторов.

Еще одно странное стечение обстоятельств помогло мне отгадать тайну гибели дочери священника Теодозия.

ДОПРОС ПИТЕРА КРАУЗА

Война уже кончилась, но на территории западных областей Украины еще существовало несколько лагерей для немецких военнопленных. Бывшие солдаты и офицеры гитлеровской армии, а быть может, и замаскированные эсэсовцы, теперь стали смирными и кроткими. Они разби-

рали руины и строили новые дома, возводили мосты и выравнивали аэродромы, поврежденные бомбежками, короче говоря, своими руками исправляли и восстанавливали то, что они же разрушили.

Как-то мне позвонил начальник одного из таких лагерей и попросил прочитать для оперативного состава лагеря лекцию на тему: «Гитлеровцы в Западной Украине». Признаюсь, мне было приятно наблюдать, с каким вниманием офицеры-чекисты слушают рассказ литератора о немецких злодеяниях. Материалы Чрезвычайной комиссии помогали им при изучении состава немецких военнопленных. А спустя несколько дней мне позвонил тот же начальник лагеря.

— Любезность за любезность,— сказал он.— Вы нам прочли лекцию, а мы можем предоставить вам возможность побеседовать с очень крупным гестаповцем, выявленным чекистами среди рядовых солдат вермахта. Очень крупная птица! В 1937 году его даже принимал сам Адольф Гитлер. Этого типа помогли нам обнаружить немецкие антифашисты. Вчера его судили. Он получил двадцать пять лет, и, пока мы его не отправили в места не столь отдаленные, можете поговорить с ним. Есть у вас время и желание?

Еще бы! Не каждому литератору даже в дни войны выпадала такая удача!

На попутных машинах и трамвае примчался я в здание тогдашней Замарстиновской тюрьмы (сегодня в ней располагается обычная городская больница, а тюрьма давно прекратила свое существование) и вместе с переводчиком вошел в следственную комнату.

По моим представлениям, бывший начальник гестапо Гамбурга, крупнейшей гавани Германии, города с миллионным населением, а затем начальник гестапо старинного Львова должен был бы выглядеть весьма внушительно. Когда же два конвоира ввели невзрачного, средних лет человечка в потертом солдатском мундире, в стоптанных сапогах немецкого покроя, лысоватого, с лицом не запоминающимся, я, по правде говоря, решил, что произошла досадная ошибка. Этот щелкает каблуками, говорит «яволь», благодарит меня, когда я приглашаю его садиться. Но когда он охотно рекомендует: «Ляйтер Питер Христиан Крауз», я понимаю, что ошибки нет.



Да, это тот самый Питер Христиан Крауз, который пытался настигнуть советского разведчика Николая Кузнецова и потерпел поражение в схватке с ним.

Крауз, конечно, не знал, кто я такой, я же отлично знал, с какой обезвреженной гадиной имею дело. По-видимому, Крауз принял меня за работника прокуратуры, призванного пересмотреть его дело и, быть может, сбавить ему срок заключения. Во всяком случае, каков бы ни был исход беседы со мной, он ничего не терял. Рассчитывая снискать мое расположение, он был весьма откровенен, сыпал именами подчиненных ему гестаповцев, общал их бывшие адреса во Львове, рассказывал, откуда они родом, каковы

их приметы и привычки, какую агентуру они оставили в городе. Он же рассказал, как проходила ликвидация львовского гетто.

— Сколько лет вашему заместителю Эриху Энгелю и как он выглядит? — спрашиваю я.

— Гауптштурмфюрер Эрих Энгель, — по-военному рапортовал Крауз, — руководил рефератом «А» в моем четвертом отделе, то есть, собственно, в гестапо, и был первым моим заместителем. Он «разрабатывал» коммунистов, социал-демократов, партизан и вел борьбу с актами саботажа. Сейчас ему тридцать семь — тридцать восемь. Рост метр шестьдесят восемь сантиметров; плотен, мускулист. Волосы зачесывает назад, блондин. Глаза карие с зеленоватым оттенком, полное круглое лицо. Особенных примет нет.

— Как и у вас?

— Яволь! Как и у меня.— И, ослабившись, добавил: — При такой внешности легче работать. Меньше бросаемся в глаза...

— Где сейчас Энгель?

— В июле тысяча девятьсот сорок четвертого года перед вступлением советских войск во Львов уехал в город Кассель, его сменил штурмбанфюрер СС и уголовный советник Дергахе. Из Вены...

Теперь я решился действовать в открытую.

— Скажите, Крауз... Дело Иванны Ставничей вел Энгель?

— И Энгель, и Альфред Дитц,— услужливо ответил Крауз.— О, это было крупное дело Ставничей! Я не мог им непосредственно заниматься, потому что мне была поручена разработка деятельности «Народной гвардии Ивана Франко».

— Но вы сами хорошо знаете подробности дела Ставничей?

— Яволь! — Крауз привстал и щелкнул каблуками.

Такое открытие было для меня неожиданностью. Думалось, Крауз будет закипать, сваливать все на других своих коллег, говорить, что ему неизвестна подлинная фамилия девушки, носившей сутану. А он проявлял полную готовность рассказать все, что связано с трагической судьбой Иванны — дочери Теодозия Ставничего.

ГЕРЕТЕ НУЖНА ЖЕНА

Еще в то время когда Питер Христиан Крауз вылавливал коммунистов в огромном портовом Гамбурге и тайно готовил шпионов для засылки их в Польшу, отец Теодозий сидел на приходстве в селе Тулиголовы, вблизи реки Сан. Его парафия была расположена рядом с причудливой деревянной церквущкой бойковской архитектуры. Окруженная смереками — пихтами, уже много лет простояла эта церковь на окраине местечка, рядом с приходским каменным домом, где жили Ставничие.

Была у вдовца Ставничего единственная и любимая им дочь Иванна, смуглая девушка с умными глубокими глазами и нравом открытым, простым и честным. Иванна с

отличием окончила гимназию в Перемышле, несколько раз безуспешно пыталась пробиться в Львовский университет, названный именем короля Яна Казимира. Ей вежливо отвечали, что все места уже заполнены. Но Иванна прекрасно понимала, в чем заключалась подлинная причина отказа. Правительство довоенной Польши вовсе не было заинтересовано давать высшее образование украинцам, которых оно презрительно называло «хлопами». Украинцы побогаче уезжали учиться кто в Чехословакию, кто в Вену, кто во Францию.

Приход же отца Теодозия был бедным, село небольшое, полунищее, недаром и звалось оно Тулиголовы. Послать дочку за границу у Ставничего никакой возможности не было. Надо было отбросить мечту о том, чтобы стать врачом, педагогом или агрономом. Оставалась у Иванны одна доля — замужество.

Всем в округе было понятно, что такая красивая и смышленная девушка, как Иванна, не засидится долго в невестах. И действительно, Роман Герета, семинарист из Львова, уроженец соседнего села Нижние Перетоки, сын тамошнего униатского священника, стал частым гостем парашии отца Теодозия. Высокий, стройный, настоящий подкарпатский «легинь», как звали здесь красивых парубков, Роман Герета большую часть своих каникул проводил в Тулигоровах. Несмотря на то что и его отец был священником и села их стояли почти вплоты друг к другу, богослов Роман охотнее помогал править службу отцу Теодозию, часто дирижировал там сельским хором, выполнял обязанности регента маленькой деревянной сельской церкви. Когда Ставничему нездоровилось, Герета читал за него вслух Евангелие, продавал и тушил свечи, помогал вести церковные книги, регистрируя рождения, свадьбы и похороны прихожан.

Было очевидно: Роман всеми силами старается завоевать симпатии старого священника и таким путем добиться расположения дочери. Герета рассказывал отцу Теодозию, как благосклонно относится к нему глава всей униатской церкви в Западной Украине, седобородый «князь церкви», митрополит и граф Андрей Шептицкий. Он намекал Теодозию, что митрополит даст ему после окончания семинарии богатый приход где-либо под Львовом, а не в такой дыре, как нищие Тулиголовы.

Когда же Роман Герета оставался наедине с Иванной, он заглядывал в ее темные глубокие глаза, напевал под гитару украинские песни.

А однажды он послал Иванне из Львова стихотворение, написанное им на отличной веленовой бумаге ровным почерком прилежного семинариста.

У місці далекім, понурім,
Часами страждає душа.
Одна лиш подруга, смерека,
Самітна і горда, як я!
І плачут дві душі самітні
При битій доріжці в саді,
Та казку минулу так люблю
Про гори говорять собі...

Иванну растрогало это стихотворение об одинокой смереке-пихте, с которой Роман сравнивал себя. Молодой богослов, которого она про себя тайно называла «мій Ромцю», оказывается, еще и поэт. Где было знать доверчивой девушке, что Ромцю совсем не так простодушен, как ей казалось. И меньше всего она могла предполагать, что еще на втором курсе семинарии Герета был принят в тайную организацию украинских фашистов — ОУН, руководимую из гитлеровского Берлина, что вперемежку с чтением Евангелия и других священных книг Роман по ночам штудировал «евангелие» Адольфа Гитлера — «Майн Кампф». Свято веря проповедям Шептицкого, что «никакого фашизма в природе нет», «поэт» учился у этого седобородого пророка лютой ненависти к коммунизму.

Роман заканчивал духовную семинарию. Ему давалось несколько месяцев на подыскание достойной для священника невесты, а затем предстояло рукоположение. Если он, по законам униатской церкви, подчиненной Ватикану, за это короткое время не подыщет суженую, на всю жизнь останется ему одиноким, неженатым попом-«целесом». Правда, поповен, желающих выйти замуж, в деканате было немало, но Роману приглянулась именно Иванна.

Иванна не выдержала натиска и к концу летних каникул дала согласие стать женой Гереты. Но тут случилось непредвиденное. Первого сентября 1939 года гитлеровские танки и самолеты рванулись на Польшу.

Перемахнув через Сан, они уже дошли до окраин Львова, когда с Востока, ломая старые кордоны, на помощь западным украинцам и белорусам двинулась Красная Армия. Немцы вынуждены были попятиться за Буг и Сан. Две трети древнего Перемышля заняли советские войска, и Иванна с подругами ездила из Тулиголов встречать освободителей.

Там-то, в Перемышле, на митинге услышала Иванна, что во Львове создается новый украинский университет, куда широко открыт доступ украинской молодежи. Услышала Иванна эту весть и тут же, на почтамте, написала заявление во Львов. Она писала, как отказывали ей в приеме в университете имени Яна Казимира, несмотря на то что гимназию она окончила с золотой медалью, просила на этот раз, коль скоро «университет открыт для народа», отнестись к ее просьбе внимательно. Первый раз клеила Иванна на конверт две красивые советские марки, первый раз получала она квитанцию на украинском языке; не чуя под собою от радости ног, бродила она по аллеям парка королевы Ядвиги и прислушивалась, как на другом берегу реки, в Засанье, немецкие солдаты пели под аккомпанемент окарينو песенку из фильма «Голубой Ангел» известную «Лили Марлен».

ПИСЬМО ИЗ ЛЬВОВА

О своих планах Иванна не сказала дома ни отцу, ни встревоженному приходу советских войск Роману Герете. Даже своей близкой товарке Юле Цимбалистой не сказала. Вдруг откажут? Нового поражения ей не вытерпеть. Да и Герета, если ей откажут, при случае сможет попрекать ее. Скажет: «Куды дивча полезло!»

Велика же была ее радость, когда спустя две недели, перебегая по гнущейся даже и под ее проворными, стройными ногами узкой кладочке быструю горную речку, она встретила сельского письмоносца Хому. Хитро щуря глаза, он сказал:

— Танцуйте, панно Иванна! — и спрятал за спину прокаленную солнцем жилистую руку.

— С какой стати?

— Говорю — танцуйте! — бросил Хома, размахивая письмом.

— Это мне?

— Танцуйте же!

Иванна, ловко подпрыгнув, вырвала из рук почтальона конверт с типографским штампом: «Львівський Державний університет імені Івана Франко». Она осторожно разорвала конверт и прочла содержание письма. Глаза ее наполнились счастливыми слезами. Подобно горному ветру, помчалась в парафию. На погосте, возле церкви, как и всегда по вечерам, собралась празднично одетая молодежь. Хлопцы разгуливали в гуцульских кептариках-разлетайках, отороченных мехом, девушки в пестрых, расшитых разноцветными нитками, тяжелых плахах.

Отец Теодозий, закончив вечерню, спускался по деревянным ступенькам на погост. Иванна подбежала к нему и, обнимая, воскликнула:

— Поздравь меня, таточку! У меня такая радость!

— Что случилось, доню?

— В университет меня приняли, тато! Боже, как я рада! Как мечтала о том, как молилась долгими ночами, сколько слез пролила, и вот теперь бог услышал мои молитвы...

Однако старый священник не склонен был разделять радость дочери. Разглядывая уведомление, он протянул:

— Ты что, покинуть меня собираешься? А как же свадьба?

Видно было, что это маленькое уведомление поставило Ставничего в тупик. Но для Иванны все образовывалось донельзя просто.

— Какая может быть свадьба, когда я теперь студентка? Ты же сам так этого хотел! Что лучше, киснуть всю жизнь на парафии в глухом селе, стирать мужу и детям белье и сутаны или стать ученой? Разве ты бы надел эту реверенду, если бы тебе в молодости представилась возможность получить светское высшее образование?

— Не будем вспоминать об этом, — оборвал дочь Ставничий, хотя понимал, что она права. — А меня оставишь одного? — продолжал Ставничий.

— Какие глупости! — воскликнула Иванна. — Скоро наладят движение пригородных поездов. Три часа — я здесь. Все воскресенье здесь. И ты сможешь приезжать ко

мне во Львов. Ты же сам хотел, чтобы я училась в университете!

— Но теперь другие времена! — нетвердо сказал отец Теодозий. — Кто знает, какие порядки в этом безбожном университете?

— Хорошие порядки, татусю, если мне так быстро отвели! — весело и убежденно сказала Иванна, ища глазами, с кем бы еще поделиться этой новостью. — Мы еще поговорим об этом! — И, заметив вдали подругу, бросилась к ней. — Юльця! — запыхавшись, проронила Иванна. — Ну бачишь, Юльця? Есть правда на земле? — и протянула ей письмо.

Юльця читала уведомление, а за ее спиной вглядывался в текст высокий, стройный хлопец в зеленой тирольской шляпе со щеголеватым фазаньим перышком.

— А видишь, а видишь? Я же говорила тебе — все изменится. А ты все ныла: «Не доведется мне больше учиться. Буду обычной попадшей...» — воскликнула Юля.

— Ты была права, Юлька, курносая и дорогая моя подруга! — целуя девушку, воскликнула Иванна. — Все меняется на глазах.

— Разрешите и мне поздравить вас, Иванна, — сказал парень в зеленой шляпе. — Меня зовут Щирба. Грицько Щирба. Я живу в Нижних Перетоках и вас знаю с виду. Это вы верно сказали: все меняется на глазах. Моего батюку за коммуны в Дрогобыцкой тюрьме гноили, а сейчас вот меня, селянского сына, во Львовскую политехнику приняли. Буду учиться в Дублянах, на агрономическом факультете...

ВСЕ РУШИТСЯ

Неожиданное письмо из Львова разрушило все надежды Романа Гереты на такое, казалось бы, уже близкое обручение и свадьбу с Ивановой Ставничей.

— Извините, Ромцю, — сказала она ему просто и деловито, — но я беру свое слово обратно. Не могу я выходить за вас замуж и не хочу вас ставить в смешное положение. Попаданка — студентка советского университета! Да меня засмеют все мои товарки. Не на мне одной свет клином сошелся. У вас есть время подыскать до рукоположения

хорошую невесту. Вы будете с ней счастливы, а я пойду своей дорогой, той, о которой мечтала все последние годы...

Все это никак не устраивало Герету. Он уже сообщил друзьям по семинарии имя и фамилию своей избранницы. Как же он будет выглядеть в глазах митрополита и председателя консистории, ее генеральных vikариев, когда расскажет, что Иванна Ставничая, как говорят в народе, «поднесла ему тыкву» — отказалась выйти за него замуж?

Какой, скажут они на любом из своих ближайших тайных заседаний, из этого Гереты будущий священник, как он может держать в руках своих паству, если влюбленная в него девчонка пошла наперекор его воле и он не сумел ее уберечь от тлетворного влияния Советской власти?

«Нет! Нет! Нет! — сказал он себе. — Не бывать этому! Иванна во что бы то ни стало должна стать моей женой. Иного выхода нет».

И решил действовать тайными, ему одному известными путями, чтобы не вызвать у Иванны протеста, а быть может, и необратимой ненависти.

— Ну что же, на то воля божия, — сказал он смиренно, наклоня свою красивую голову. — Насильно мил не будешь. Раз панно Иванна решила променять супружеский союз со мной на учение в этом университете, я схожу с ее пути. А другие невесты меня не интересуют. Я сохраню любовь к вам, панно Иванна, в своем сердце и посвящу себя только службе богу, навсегда останусь неженатым...

— Не надо этого делать, Ромцю, — чуть не плача сказала Иванна, понимая, какую боль она принесла своим решением молодому богослову. — Поезжайте в Перемышль, сколько там в епархиальном училище есть красивых и умных попадянок, из них будут хорошие хозяйки и верные жены. Ну, а разве вы не можете подыскать себе невесту из светской среды? Хотя бы в том же самом Львове?

— Не уговаривайте меня, милая Иванна. И в службе богу, запрятав глубоко в душе своей разбитую любовь к единственному на земле человеку, могущему быть моей избранницей, я смогу найти себе утешение и отраду. И пусть вас отныне не волнует судьба моя...

Роман Герета, высокий, статный богослов из села Нижние Перетоки говорил так, а в хитрой своей голове, хорошо обученной многим тонкостям обмана, лихорадочно об-

думывал точный, рассчитанный до мельчайших деталей план, которому смог бы позавидовать самый искушенный иезуит...

ДЕЙСТВОВАТЬ!

Спустя неделю, переодетый в штатское, Герета сидел за столиком львовского ресторана «Атлас» на площади Рынок и медленно пил из высокого бокала прозрачное и пенистое львовское пиво.

Герета не зря выбрал именно это место и дневной час для тайной встречи с тем, кто мог круто изменить его судьбу и спасти его будущее благополучие. На плечах у Гереты был небрежно накинут светло-синий модный пиджак. Серые шевиотовые его брюки были сшиты у модного портного и не были так широки, как у многих приезжих во Львов с Востока, а из-под пиджака выглядывала тоже хорошо сшитая белая шелковая рубашка-апах. И ни один непосвященный человек не мог бы узнать в этом франте, мирно посасывающем пиво, богослова, решившего посвятить себя службе всевышнему.

Тот, кого он ждал, его старый школьный товарищ еще по частной гимназии Кукурудзов, Дмитро Каблак, коренастый, широкоплечий парубок лет двадцати пяти, вошел шумно, размахистыми шагами обогнул пустые столики и, протягивая Герете волосатую, загорелую, сильную руку, сказал по-львовски:

— Сервус, Ромцю!

— Сервус,— ответил Герета и придвинул Каблаку полированную табуретку.

— Случилось что-либо, Ромцю? — спросил Каблак. — Никогда твой голос не звучал так тревожно, как сегодня, когда ты звонил мне по телефону.

Повернувшись к друзьям спиной, у пианино сидел музыкант, француз Эмиль Леже. Он тихонько, очень тихо наигрывал знакомые мелодии львовских песенок: «Есть у меня гитара, купленная во Львове», «Володя», «Я условился с ней ровно в девять». В этой «связке», или, как говорили поляки, «вёнзанке», музыкальных мелодий одна незаметно сменяла другую и создавала в ресторане спокойное мечтательное настроение.

Минутку помолчав, он заиграл песенку львовских окраин, столь любимую жизнерадостными «батярами», особой породой львовских босяков: «Там, на рогу, пше яновской, при улице Клепаровской»...

Тихо, поглядывая, не подслушивает ли их музыкант, Герета рассказал, как Иванна «поднесла ему тыкву».

— Ну хорошо, а я-то здесь при чем? — не понимая, в чем дело, спросил Каблак и знаком показал появившемуся в проеме дверей официанту Антеку, чтобы тот принес и ему пива. — Я тебе давно говорил — ищи себе невесту не в Тулиголовах, а только здесь, во Львове. Нужно было тебе связываться с той тулиголовской квочкой!

— Она хорошая девушка, но очень упрямая, — шепотом возразил Герета. — И только ты сможешь мне помочь. Мы с тобой старые побратимы, не один год в организации. — Тут голос Гереты перешел на трудно уловимый шепот: — Ты секретарь приемной комиссии университета и должен отказать Иванне в приеме.

— Когда она уже зачислена? На что же я сошлюсь?

— А это уж твоё дело. На распоряжение ректора. На социальное происхождение. Да, да! — оживился Герета, радуясь быстро найденному решению. — Это ход! Ты ей отказываешь как дочери попа, ссылаешься на то, что её отец нетрудовой элемент.

Увлечшись разговором, они не заметили, как неслышными шагами, вертя в руках маленькое круглое банджо, к столику подошел музыкант и сказал, безбожно ломая русские слова:

— Панове, одна шансон франсез?..

Герета вздрогнул и, желая скрыть это, спросил как можно более спокойнее:

— Пан есть француз?

— Так, — ответил Леже, кивая головой.

— Какими судьбами во Львове — и француз? — спросил Каблак тоном следователя.

— Я был офицер связи от Франции в армии Чехословакии. Там женился. Ву компране? Вы понимать? Гитлер в Судеты, в Чехословакию — Эмиль Леже и его жена через Карпаты сюда, Львов...

— Теперь надо обратно Франция, нах хауз! — засмеялся Герета.

— Не надо Франция! — печально сказал Леже. —

Франция — Даладье, Петен. А я люблю советских люди. Мне здесь хорошо. Добже. Жена работает садовницей на Высокий замок, а я здесь спевам...

И он запел песенку о далеком родном Марселе, отрезанном от него на долгие военные годы.

— Проше пана, едно пиво для музыканта! — крикнул Герета появившемуся у двери Антеку.

Когда Антек принес ему одно большое пиво, Леже, прерывая игру на банджо, сказал:

— Мерси! Гран мерси! — поклонился учтиво и понес бокал на пианино. Он выпил пиво не сразу и все продолжал напевать.

Под мелодию французской песенки Герета прошептал:

— Думаешь, подслушивал?

— Холера его знает! У этих коммунистов всюду свои агенты. Нам только еще французского большевика не хватало. «Я люблю советских люди»! — зло передразнил Каблак. — Погоди, погоди. Недолго остается тебе их любить. Послушай Ромцю, знаешь указание: всюду и везде насаждать наших людей. Мы должны быть хитрыми, как лисы, гибкими, как змеи, и проникать всюду, чтобы в час великого взрыва суметь захватить ключевые позиции. И в университете тоже.

— Да, это верно, — согласился богослов. — Я знаю эту инструкцию. Но в ней идет речь о националистах. А Иванна, как ты изволил выразиться, квочка, и я никогда не дам ей вмешиваться в политику. Мне нужна жена. Понимаешь? Добрая, любящая жена. И все. Точка. Но есть и другая инструкция. Всеми силами и способами вызывать недовольство местного населения Советской властью. Если ты откажешь Иванне в праве учиться в университете, если она будет озлоблена большевиками и их законами — это будет только на руку нам. Мы приобретем еще одного сочувствующего для тех времен, когда провозгласим здесь самостоятельную Украину и когда падет Москва...

Бедная, наивная Иванна! Если бы она была свидетельницей этого разговора или знала, что бывалый украинский националист, фашистский агент Дмитро Каблак проник в приемную комиссию! Немало сделал он на этом посту, чтобы опорочить святое дело Советской власти, раскрывшей для народа Западной Украины университетские двери.

Все это обнаружилось значительно позже, когда во

Львов ворвались немцы. Но тогда, в первый год существования Советской власти во Львове, Иванна действительно была «квочкой», наивной, доверчивой. Она и не подозревала, что ее близкие могут ткать вокруг ее зыбкой девичьей судьбы паутину сложнейших иезуитских провокаций, как не знала она и того, что беседа Гереты с Кабляком в ресторане «Атлас» закончилась словами Кабляка:

— Хорошо, згода. Но прежде всего я посоветуюсь с митратом Кадочным. По заданию митрополита Шептицкого он курирует дела боевки украинских националистов в университете. Быть может, он подскажет другую, более умную комбинацию.

— Только, ради бога, не выдавай меня и не говори, что Иванна отказала мне в своей руке,— поспешно заметил Герета.— Скажи просто, что в ее лице стоит приобрести еще одного недовольного Советской властью. Скажи митрату Кадочному, что разочаровавшаяся Ставничая может стать хорошей активисткой в обществе святой богородицы девы Марии. Ведь церковь заинтересована в этом!

Не знала Иванна ни этих, ни других слов, которыми обменялись на прощание Дмитро Кабляк и ее суженый Роман Герета.

КАБЛЯК ДЕЙСТВУЕТ

Радостная, ликующая приехала она во Львов: Иванна хотела узнать, где находится студенческое общежитие и когда начнутся занятия.

В нарядном цветистом платье шла она с чемоданчиком в руках по Академической аллее, и не один прохожий оглядывался на красивую девушку с густыми, длинными волосами, волнами сбегавшими на высокие плечи.

Иванна бывала во Львове и раньше, но никогда еще город не казался ей столь оживленным.

Мелькали последние лицеисты Львова в разноцветных шапочках-корпорантках. Угасающие пани то там, то здесь прогуливали по тротуару японских балонок, откормленных такс и тупомордых, лоснящихся от жира бульдогов. Навстречу Иванне попадались пожилые пенсионеры-эмериты в старомодных канотье, котелках, мелониках с тростями, украшенными монограммами. У ворот кое-где сидели старички, которые в своем облике сохранили верность

не столько последним маршалкам Польши, сколько самому живучему из всех австрийских монархов: усы и бакенбарды у них были точь-в-точь как у императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа. А вот престарелый раввин вывел на прогулку воспитанников хедера, или талмудторы: на тонкие, рахитичные ноги подростков, перешагнувших сразу из детства в старость, были натянуты белые, до колен, чулки, а по их бледным щекам свисали черные пейсы.

Среди потока прохожих Иванна могла без труда различить новых и подлинных хозяев освобожденного города: молодых гуцулов в нарядных кептарях, веселых украинских девчат в национальной одежде, перед которыми Советская власть распахнула двери институтов и школ старинного города. И, понимая, что она теперь тоже относится к их числу, Ставничая еще уверенней шагала по бывшей улице Легионов, переименованной сейчас в Первомайскую.

Совсем другое зрелище предстало перед ее глазами, когда она увидела девушек с рюкзаками за плечами, в брюках и тяжелых лыжных ботинках, с распущенными волосами. Это были беженки из центральных районов Польши, занятых гитлеровцами, не пожелавшие остаться на территории, оккупированной фашистами. Весь их скарб теперь у них за плечами.

Из улицы Килинского донеслась уже полюбившаяся здесь «Катюша», песня, рожденная как раз в те времена. Ее пели красноармейцы; в полной выкладке, со скатками и котелками, они направлялись на главный вокзал. Молоденький лейтенант, то и дело ревниво оглядывая, как держат равнение его подчиненные, подавал команду: «Раз, два, три!левой!»

Взгляды пешеходов невольно обращались к колонне, пересекавшей Первомайскую улицу. Одни смотрели на советских воинов с восхищением, другие со сдержанным любопытством. Третьи, в сапогах-«англиках», те, что долгими годами распространяли здесь сказки о «большевистских фанерных танках», о «колоссе на глиняных ногах», — с плохо скрываемой ненавистью.

Паренек в домотканой куртке, с узлом, висящим на плече, обратился к пожилому человеку в старомодной крылатке:

— Простите, пане... Как пройти к университету имени Ивана Франко?

— К университету имени Ивана Франко? — ядовито переспросил старик. — Шестьдесят пять лет живу во Львове, но такого университета не знаю. Если же пану надо посетить университет Яна Казимира, тогда прошу повернуть налево и потом у «Народной гостиницы» — направо. А потом по улице Третьего мая налево...

И, учтиво приподняв шляпу «борсалино» с вогнутыми полями, старик поворачивает обратно, к Марьяцкой площади. Там, воздев руки к небу, между памятником Адаму Мицкевичу и отелем «Жорж», возвышается серая католическая мадонна.

Иванна улавливает в едком ответе пенсионера не только стремление старого мира сохранить свою власть над этим городом, но и тупое, заносчивое упрямство человека, не желающего подчиняться закономерному движению истории. Она обращается по-украински к озадаченному селянчуку с узором:

— Пидемо разом, товарищу! Я покажу вам, де университет Ивана Франка...

В молчании подходят они к portalу университетского здания, украшенного аллегорическими изображениями Вислы, Днестра и Галиции. Когда-то здесь заседал галицкий сейм, затем польские власти отвели это здание под университет.

Иванна собиралась подняться в ректорат, но, увидев в вестибюле, с каким возбужденным вниманием, приподнимаясь на носки, читают списки принятых хлопцы и девушки, присоединилась к ним. Долго всматривалась она в списки, водя пальцем сверху вниз от фамилии к фамилии, но не находила там своей. Рыдание подкатывает к горлу. Ей чудится, что студенты и даже засевшие в нишах вестибюля князь Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Мечислав и Казимир с насмешливым вниманием следят за ней.

Изменившись в лице, она не идет, а бежит по широкой лестнице на второй этаж. Она врывается в кабинет секретаря приемной комиссии. Навстречу ей из-за широкого дубового стола поднимается важный, полный сознания собственного достоинства и вместе с тем сдержанный секретарь. Он знаком предлагает девушке садиться, но она, рас-

терянная, роется в своем чемоданчике и, достав оттуда извещение, протягивает его через заваленный делами стол.

Секретарь бегло прочел извещение и сказал:

— Дуже приємно, панно Ставнича!.. Будем знайомі! Дмитро Каблак. Ну и что же?

— Как — что же? — голосом, полным отчаяния, готовая разрыдаться, восклицает Иванна. — Но в списках меня нет!

— И не будет! — заявляет Каблак и разрывает извещение.

В ужасе следит Иванна за тем, как белые клочки бумажки, разорванной загорелыми и волосатыми пальцами Каблака, падают в плетеную корзину. И кажется ей, что не извещение, а в клочья разорванная судьба ее летит туда, в мусор, смешиваясь с окурками и обломками сургучных печатей.

— Почему же? — простонала Ставнича.

— Есть причины!

— Но я окончила гимназию с отличием...

— Мало ли кто кончает гимназию с отличием, — прищурив хитрые глаза, протянул Каблак. — Сыновья графа Дзедушицкого или князя Сангушко. Разве они учились плохо?

Ничего решительно не понимая, Иванна воскликнула:

— Но какое я имею к ним отношение? К чему такие сравнения? Я украинка, а это польские аристократы...

— Украинцы бывают разные. Вот Остап Луцкий, помещик из Волыни, или адвокат Кость Левицкий, которого большевики недавно «прикрыли». Социальное происхождение не всякому дает право учиться в этом только для народа открытом университете! — сказал Каблак, театрально подняв к потолку руку.

— Значит, то обстоятельство, что мой отец является священником в бедном украинском селе, лишает меня права получить высшее образование? Но ведь отец стал священником, когда еще не было Советской власти! Он простой селянский сын, и, кто знает, будь здесь другие порядки, надел ли бы он сутану?

— Мы живем в трудное время, дорогая, и не каждый способен понять все это. — сочувственно сказал Каблак.



Иванна уже не слушала Каблака.

— Боже мой! Как это все чудовищно жестоко: вызвать меня, обнадеежить и сразу разрушить все!

Она опустилась в кожаное кресло и, припав лицом к резной кромке дубового стола, залилась слезами. Со странной усмешкой, скользнувшей по лицу, Дмитро Каблак обогнул огромный стол, подошел к Ставничей и, меняя тон, положив руку на ее плечо, ласково сказал:

— Милая девушка, я тоже местный человек и хорошо понимаю ваше горе. Не мы завели эти порядки. Их принесли сюда они, люди с Востока. Мы жили здесь иначе, а они — азиаты...

Иванна быстро вскочила. Этот ласковый, мягкий голос Каблака внушил ей надежду.

— Я пойду к ректору. Быть может, он не знает всего. Я расскажу ему все! Я расскажу, как мечтала учиться дальше, как мне не давали и что говорил командир на митинге в Перемышле.

Каблак засмеялся. Хитро, тонко засмеялся, приглажи-

вая широкой темной ладонью и без того хорошо прилизанные волосы. С удивлением посмотрела на него Иванна. Над чем он смеялся? Кто дал ему право так издеваться над ней?

А секретарь приемной комиссии, удовлетворенно сочетая в одном лице роль чинуши и доброго утешителя, пояснил:

— Милое, наивное дитя! Я передал вам решение самого ректора. Его собственное решение, поймите! А своих решений он никогда не меняет. Будете жаловаться, возражать, наболтаете чего-нибудь лишнего, чего о н и не любят, он воспримет вашу обиду как недовольство Советской властью, и вместо университета вы отправитесь с отцом вашим в Сибирь. В гости к белым медведям...

— Что же мне делать? — доверчиво спросила растерянная Иванна.

— Вы красивая девушка и без университета проживете, выйдете замуж, будут у вас дети, любимый муж, и никто вас укорять не будет...

— Укорять? — насторожилась Иванна. — За что укорять?

— Для н и х — вы чуждая! Навеки чуждая. Поймите это сердцем. Таков закон нового, советского времени. Вы будете писать об этом в анкетах, отвечать на собраниях, каяться! — вдохновенно сказал Каблак. — Если, конечно...

— Что — конечно?

— Ну... подайте публикацию в газету «Вільна Україна». Напишите, что вы отрекаетесь от бога и своего отца. Порываете с ним. Это модно. Так заведено у Советов...

Иванна вскочила и с ужасом посмотрела на Каблака.

— Да как вы смее? — выкрикнула она.

Ничего больше сказать у нее не хватило сил, и, хлопнув дверью, она выбежала в наполненный молодежью университетский коридор.

ВЛАДЫКА УТЕШАЕТ

Иванна медленно брела по тенистым аллеям парка Костюшко, который некогда назывался Иезуитским. На скамейках сидели парочки, на фасаде деревянного кино-театра виднелась новая реклама фильма «Подкидыш» с актрисой Фаиной Раневской в главной роли. Но взгляд Иванны скользил безразлично мимо всего, а сознание ее заполняла гнетущая мысль: счастье, такое возможное, близкое, потеряно раз и навсегда.

Справа, на Святоюрской горе, за высокими буками на фоне ясного неба проглядывался узорчатый силуэт собора святого Юра. Когда-то на той горе шумел буковый лес. Иванна вспомнила историю самого главного униатского храма в Западной Украине.

До основания города князем Данилой Галицким на горе селились разные отшельники. Потом возникла деревянная церковь и пещеры для пустынников.

Монастырь и церковь были разгромлены польским королем Казимиром. И на их месте началось строительство одного из лучших архитектурных строений Восточной Европы — Святоюрского храма с колокольней, клирошанскими домами и палатой митрополита. Храм был построен в конце XVIII века.

Об этом ей рассказывал отец. Она подумала о нем, одиноком в своих Тулиголовах. Он ждет ее с нетерпением домой, а какую радость принесет она?

Иванна вышла из парка и пересекла улицу Мицкевича. С площади Святого Юра вела дорога к триумфальной арке, украшенной короной, сплетенной из терниев. Под ней проходили прихожане в собор и на поклон к митрополиту.

У самого входа под арку она вынуждена была посторониться. Сверху, с подворья, на фиакрах еще старого австрийского образца, выкатилась свадьба. Сияющая новобрачная в белой фате и такой же самодовольный пьяноватый жених с белым восковым флёрдоранжем в петлице черного глянцевого пиджака ехали в первом фиакре. За свадебной парой следовали шаферы, разнаряженные дружки, родные и друзья жениха и невесты.

«Неужели и у меня остался теперь только этот путь вместо большой дороги в настоящую, интересную жизнь?»

Пропустив кавалькаду, Иванна поднялась медленными

шажками по выщербленным ступенькам на крыльцо собора. Под его высокими холодными сводами было тихо и пустынно. Отовсюду на Иванну глядели кроткими, поблекшими глазами изображения митрополитов, которые некогда правили здесь, доносились приглушенные и деловитые голоса священнослужителей, по-видимому деливших вырубку. Пахло елеем и потушенными свечами.

Иванна зашла в притвор и остановилась перед алтарем с чудотворной, как это утверждали хозяева храма, иконой Теребовельской божьей матери, девы Марии. Девушка опустилась на колени. Тусклые отблески горящих свечей озарили ее лицо, обращенное к богородице.

Эта униатская мадонна, по преданию, ходила в солнечных ризах по оборонным стенам старинной Теребовли, когда княжью твердыню осаждали татары и турки. Она отклоняла в сторону вражьи пули, а позднее, в другие времена, даже смягчила сердце шведского генерала Штембека, который отказался от половины им самим наложенной на город контрибуции. Теперь она смотрела с высоты алтаря на распластавшуюся перед ней Иванну, не подозревавшую вовсе, кто стал подлинной причиной ее несчастья.

— Царица неба и земли, дева пречистая, — шептала девушка, — мать божья, заступница наша, я никогда не откажусь ни от бога, ни от тебя! Но почему люди так несправедливы? Разве я отверженная или прокаженная? Чем я хуже других?

Глухие рыдания то и дело прерывали молитву Иванны. Крупные слезы скатывались из ее глаз по смуглым, загорелым щекам и падали на пыльный, истертый ногами прихожан каменный холодный пол собора святого Юра.

Проходивший мимо митрат Кадочный — в черной сутане, высокий, с вкрадчивыми, кошачьими движениями — остановился за колонной. Он сразу узнал в молящейся дочь тулиголовского священника, о судьбе которой еще совсем недавно советовался с ним Дмитро Каблак. Чуть заметная улыбка скользнула по узким губам митрата. Он отлично понял, что план Каблака, согласованный с ним, начал осуществляться успешно. Тихо приблизившись к девушке, он опустился рядом с ней на колени и, положив на вздрагивающие плечи Иванны свою узкую руку, ласково спросил:

— Кто тебя обидел, дочь моя? Что случилось злого в юной твоей жизни? Открой мне свою душу, и я помогу тебе...

Через несколько минут, сопровождаемая Кадочным, Иванна, робко озираясь по сторонам, шла по коридору капитула. Спаситель ее души предупредительно показывал девушке дорогу. Он вел ее в покои митрополита.

Они вошли в библиотеку, уставленную высокими книжными шкафами. Среди книг духовного содержания здесь можно было увидеть сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, тома Большой советской энциклопедии, книги советских авторов. Митрополит хорошо знал: «Чтобы поражать коммунистическое учение, надо прежде всего самому хорошо знать его». В простенках между книжными шкафами — портреты римских пап в золотых тиарах и деятели унии. На почетном месте в старинной позолоченной раме висел портрет патрона униатов папы римского Урбана VIII. Как боевой наказ, начертал древней славянской вязью неизвестный художник в уголке портрета слова наместника бога на земле, обращенные некогда к греко-католикам-униатам: «С помощью вас, мои русины, я надеюсь обратить весь Восток...»

Иванна едва успела прочесть эту надпись божьего военачальника, как в дверях появился дородный келейник, самый приближенный к митрополиту монах Арсений. Громким голосом он доложил:

— Его эксцеленция на балконе... Прошу...

С балкона капитула открывался вид на затянутые дымкой взгорья Львова, на его старинные башни и сады. Униатский митрополит граф Андрей Шептицкий полулежал в кресле, прикованный к нему неизлечимым недугом.

Иванна по установленному ритуалу опустила перед ним на колени. Шептицкий милостиво протянул девушке опухшую синеватую руку. Девушка поцеловала на руке перстень со святыми мощами. Митрополит осенил Иванну крестным знамением и сказал кротким, приглушенным голосом:

— Отец Орест поведал мне о твоём горе. Почему ты постеснялась сама зайти ко мне?

— Я не хотела нарушать покой вашей эксцеленции. У вас и без меня столько дел и столько посетителей.

— Мое сердце открыто и в минуты отдыха для всех страждущих. А к тому же ты еще и моя крестница. Ты-то не помнишь, как во время визитации в Тулиголовах я осенил тебя крестным знамением. Ты была совсем маленькая, а отец Теодозий — совсем молодым священником. И матушка твоя еще была жива. Это правда, что от тебя требовали, чтобы ты отреклась от господа бога нашего?

— Не только от бога, но и от моего отца, ваша эксцеленция! — гневно сказала Иванна.

— Слуги антихриста топчут сейчас нашу землю. Видно, сильно мы провинились перед богом, если он прислал нам с небес такое испытание — владычество сатаны... — тихо произнес Шептицкий.

С площади Святого Юра донесся звук пионерского горна, а затем громкие слова песни:

Грими, грими, могутня пісне,
Як ті громи весняних бур!
Хай знає панство ненавистне,
Що наша армія, як мур...

Над древними каменными стенами, окаймляющими митрополичьи палаты, замелькали алые пионерские знамена. Под звуки барабана, на котором выстукивал походный ритм курносый забавный пионер, прошел мимо старой твердыни католицизма один из первых пионерских отрядов Львова. Митрополит проводил его пристальным взглядом. Некоторые из пионеров еще не имели новой формы: на мальчиках были бархатные шапочки старого гимназического образца, на девочках синие форменные платица с номерами школ на рукавах. Но у всех были повязаны красные галстуки.

Весело и задорно пели самые молодые советские граждане Львова, и звуки их песни перелетали через монастырскую ограду на обвитый диким виноградом балкон капитула.

Шептицкий тяжело вздохнул:

— Наши дети поют бесовские песни. Кто бы мог подумать, что станет такое? Большевики свои порядки заводят. Закон божий в школах запретили. А когда я письмо

в Киев их правительству послал, протестуя против пионерских отрядов в школах, мне даже не ответили! Посмеялись, видно, только. Сам король Испании в свое время поднял голос в мою защиту! Сам король Испании! А тут советский комиссар из простых мужиков, который сидит в Киеве, не внемлет моему гласу протеста. Бессильны мы пока, дочь моя!..

И как бы в ответ на слова разгневанного графа, уже с улицы Мицкевича снова донесся громкий стук барабана и веселая песня пионеров.

Шептицкий продолжал еще взволнованней:

— Ты слышишь, дочь моя? Занесли сюда, в Галичину, свои кацапские песни! Но я твердо верю, что владычество антихриста продлится недолго. Бог услышит наши молитвы.

— А что же мне делать сейчас, ваша эксцелленция? — взмолилась Иванна.

— Все будет хорошо! Время — лучший лекарь бед человеческих. Не горюй о безбожном университете. Посвяти себя всецело служению в обществе имени пресвятой девы нашей Марии. Детей от большевиков спасти надо! — И митрополит кивнул седой головой своей в сторону удаляющейся песни. — Молодежь спасти! Искоренять тлетворные плевелы безбожного учения. И пусть тебе поможет в том твой избранник. — Митрополит пытливо окинул Иванну острым, пронизательным взглядом, сверкнувшим из-под нависших седых бровей. — Вы уже обручены с богословом Романом?

Иванна смешалась. Она не ждала такого прямого вопроса. Осведомленность митрополита застала ее врасплох.

— Роман говорил с папой... Но я...

Голосом, не терпящим возражений, Шептицкий прервал Иванну:

— И прекрасно. Роман — самый достойный избранник твоего сердца. Он верный слуга и воин божий. Роман — один из лучших выпускников духовной семинарии, мой стипендиат. В наше страшное время, когда сатана ликует повсюду, будь Роману надежной подругой...

Растерянная Иванна пыталась было объяснить, что она уже отказала Герете, но Шептицкий взял с балюстрады звоночек и помахал им.

КОЛЬЦО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА

Застекленную дверь открыл келейник Арсений. Митрополит сделал ему знак, и келейник принес дорогую инкрустированную шкатулку. Шептицкий привычно порылся в шкатулке опухшими пальцами, извлек оттуда золотое обручальное кольцо и надел его на дрожащий палец ошеломленной девушки.

— Иди, моя дочь Иванна, — сказал он, — по пути, уготованному тебе всевышним! Живи в честном и святом супружестве христианском. Борись всеми силами со слугами антихриста, а отцу Теодозию и твоему избраннику передай мое благословение!

С этими словами Шептицкий резким движением руки приказал келейнику убрать шкатулку и нечаянно сбросил на пол серебряный колокольчик.

Он, позванивая, покатился к балюстраде... Иванна вспомнила этот звон колокольчика, когда через несколько дней в церкви декана Теодозия Ставничего под звон рюмок и бокалов праздновалось ее обручение с Романом Геретой.

Вызванные телеграммами, гости съехались из Львова и Перемышля, из Нижанкович и Бирчи и из окрестных сел — дальние и близкие родственники и знакомые. Всем нашлось место за парадным столом.

Вина довоенных запасов в причудливых бутылках красовались на столе. Были здесь венгерский «Токай», итальянское «Киянти», французское «Бургундское» и обязательное «Лакрима Кристи»...

Вина издавна накапливались, а теперь были извлечены отцом Теодозием из заветного подвальчика по поводу обручения единственной его дочери.

Помолодевший, энергичный отец Теодозий суетился, подливал соседям вина, подсовывал то бигос, то жареную кровяную колбасу с гречневой кашей, то различные салаты.

Растерянная, подавленная, сидела Иванна рядом с богословом Геретой. Старинной чеканки серебряное монисто и большие серьги вместе с платьем яркой расцветки делали ее похожей на цыганку.

Отец Теодозий поднялся с бокалом вина в руке и глуховатым взволнованным голосом сказал:

— Панове и пани! Достойное общество! Я хотел бы выпить чару сию за здоровье своего будущего зятя Романа и моей дочурки Иванны. Да будут они счастливы в этом грешном мире, уже потрясенном войной, и пусть война обойдет стороной их дом!..

Выйдя из-за стола, Ставничий крепко трижды поцеловал свою дочь и Романа.

А гости, не уславливаясь, как это водится в таких случаях, запели: «Многая лета, лета, лета...»

Пели все: и приехавшая из Львова игуменья женского монастыря католического ордена василиянок Вера, и монахиня Моника, и старенький дьяк. Пел даже адвокат Гудим-Левкович, благообразный, в пенсне с золоченой дужкой, с бородкой клинышком. Но звонкий голосок подружки Иванны Юли Цимбалистой заглушал голоса стариков.

А Роман Герета, сняв с пальца невесты кольцо и пристально разглядывая его, уверенным голосом бывалого проповедника, или, как их зовут в Польше, казнодея, произнес:

— Я предлагаю тост за здоровье нашего обожаемого митрополита Андрея... Его эксцеленции нет за этим столом, но я не ошибусь, если скажу: митрополит здесь! Он, как всегда, и сегодня незримо присутствует рядом с нами, направляет наши помыслы и деяния. Владыка почтил наше скромное празднество драгоценным подарком. — Роман приблизил обручальное кольцо к своим глазам и прочел: — «Моей крестнице на счастье. Кир-Андрей»...

Обведя глазами всех присутствующих, как бы желая выяснить, какое впечатление произвела эта новость, Герета после намеренно затянутой паузы продолжал:

— Немало крестниц у его эксцеленции во львовской епархии и даже за далекими морями — в Канаде и Америке, особенно в пастырских семьях. Но лишь самые избранные удостаиваются такой чести и получают такое драгоценное кольцо — памятный подарок на всю жизнь. И я, скромный слуга божий, безмерно счастлив оттого, что моя избранница сумела честно пройти по стезе господней от святой купели до сегодняшнего дня и заслужить такое высокое признание владыки... Пусть же еще многие лета восседает владыка на своем престоле. Да поможет всем нам владыка спасти от безбожия неньку-Украину до тех

дней, пока гром кары божьей не покарает окончательно всех грешников... За его эксцеленцию!..

И, сделав маленькую паузу, подняв в руке бокал, наполненный рубиновым вином, Герета запел:

— Боже великий, единый, нам Украину храни!..

Гости стали дружно подпевать ему слова гимна церковников и украинских националистов. Только уснувший было во время длинного тоста и основательно охмелевший дьячок, седой, обросший волосами, похожий на маленького пучеглазого гнома, не разобравшись, в чем дело, затянул польскую песенку:

— Грай, скшипко, грай!..

Адвокат Гудим-Левкович дернул дьячка за плечо и прошипел:

— Не из той оперы, любезный добродию...

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

— Добрый вечер! — как гром с ясного неба, заглушая торжественное «Многолетие» и надтреснутый голос дьячка, прозвучало вдруг неожиданное приветствие.

Среди общего шума и пения хозяин дома и гости не заметили, как в комнату вошли два советских командира.

Тихо, очень тихо сразу стало в светлице. Не у одного из сидевших за столом екнуло сердце: «Не арестовывать ли пришли?» Даже кроткий, незлобивый отец Теодозий и тот насторожился. Причин для таких опасений было достаточно: всего несколько минут назад здесь был пропет всеми вместе гимн националистов. Да и, наконец, местному населению годами внушали всякие небылицы о людях, которые где-то за речкой Збруч носили форму Красной Армии.

— Добрый вечер! — повторил один из вошедших, прикладывая руку к лакированному козырьку фуражки с красной звездой. — Извините... Кто тут хозяин?

Ставничий нетвердыми шагами вышел из-за стола. Растерянность и тревога сквозили в его взгляде.

— Простите, батюшка, — солидно сказал командир, протягивая навстречу священнику руку. — Я лейтенант Зубарь, — представился он. — На постой к вам районный исполком определяет нашего капитана инженерных войск,



товарища Журженко. Человек он смирный, одинокий, инженер по образованию. Жилплощадь-то у вас богатая, а в селе уже не продохнуть...

Пока Ставничий читал ордер и собирался с ответом, Иванна бросила дерзко из-за стола:

— Это у вас; на Востоке, принято вторгаться так, без всякого согласия хозяев, в мирные дома?

Глаза ее блеснули. Роман незаметно дернул невесту под столом за руку.

Журженко пристально посмотрел на девушку и, еще не зная того, что она дочь хозяина, подавляя обиду, сказал как можно мягче:

— Военные обстоятельства не всегда согласовываются с желаниями мирного населения.

Ставничий постарался погасить перепалку. Взяв капитана под руку, он сказал миролюбиво:

— Не осуждайте дерзость моей дочери, гражданин командир. Молодо — зелено. Пойдемте, будьте любезны, я покажу вам свободную комнату,— и повел за собой офицеров.

Он шел впереди с зажженной свечой. За ним осторожно, стараясь не удариться головой о притолоку, закопченную дымными четверговыми пасхальными крестами, двигались, полусогнувшись, Журженко и Зубарь.

Отец Теодозий ввел их в маленькую комнатку с неприхотливой обстановкой: односпальная кровать, этажерка, старомодный письменный столик на выгнутых лапках, гуцульский коврик на стене с ясеневым деревянным распятием да большая икона святой Параскевы с трехручьеим крестиком в руке и ликом, потемневшим от времени.

— Электричества пока нет, но радио уже вчера привели,— как бы извиняясь, сказал Ставничий, показывая на рупор громкоговорителя, чернеющий над окном, занавешенным пестрой домотканой веретой.

— Ну что же... вполне удобно,— оценил комнату Зубарь,— но только мадам эту,— он показал на святую Параскеву,— придется...

— Ладно, Зубарь. Отставить! — оборвал его Журженко.— А где бы у вас можно помыться, батюшка?

— Днем, сын мой, мы моемся у колодца, ну, а сейчас сюда можно принести кувшин с водой и тазик.

— Не беспокойтесь, на воле удобнее,— сказал Журженко,— только покажите, будьте добры, где у вас колодец?

Появление непрошеного квартиранта-«совета» не доставило особой радости ни старому священнику, ни его гостям. Кто его знает, каков этот человек, Журженко? И этот... Зубарь? Ведь оба они были оттуда, с Востока.

Позднее Теодозий Ставничий записал в своей тетради: «Неожиданный визит советских военных не только поверг нас в большое смятение, но вызвал большую тревогу — как бы это новое соседство не отразилось на наших судьбах, моей и Иванны. Все предыдущие годы правда о Советской стране прорывалась сюда с большим трудом, через полицейские кордоны государства, которое считало себя бастионом христианства на Востоке. Мы, слуги церкви, читали преимущественно церковную прессу... и мы обязаны были вести борьбу с любой, даже самой маленькой правдой, проникающей с Востока на нашу галицкую землю. Вот почему оба нежданных гостя в тот вечер показались многим из нас явными слугами антихриста...»

ЗУБАСТАЯ НЕВЕСТА

Пока участники «заручин» приходили в себя, один из «слуг антихристовых», старший лейтенант Зубарь, обливал из ведра у деревянного колодца мускулистую спину капитана Журженко.

Растирая докрасна мохнатым рушником свое скуластое, монгольского типа лицо с красивыми, чуть раскосыми глазами, Журженко поучал лейтенанта:

— Про «мадам» вы, Зубарь, сказали зря. Чувство такта вам изменило. Нельзя оскорблять религиозные чувства верующих такими замечаниями!

— Неужто вы, капитан, под иконой спать будете? — обиделся Зубарь. — Увидит кто — и потащат вас, раба божьего, на парткомиссию.

— Все можно сказать, но так, чтобы не задевать хозяев. Вы видели: у них свадьба!

— Свадьба свадьбой, а невеста-то, видать, зубастая, —

протянул Зубарь, выплескивая из ведра в лопухи остатки воды. — Из чуждых, а не стесняется. Даже глазами, как пантера, сверкнула!..

Меж тем гости, заполнившие светлицу, заметно приуныли. Лишь один дьяк не терялся и, не обращая внимания на соседей, уплетал ветчину, нарезанную большими ломтями, смазывая ее предварительно горчицей. «Ведь не каждый день попадаешь на такие пышные «заручины», — думал он, стараясь не упустить время.

Игуменья Вера протянула скорбно:

— Гляжу — и сердце кровью обливается. Чистые варвары! Азиаты! Быть может, пока я здесь, и мой монастырь там, во Львове, эти антихристы под военную часть заняли? Какой они формации?

— Наверное, энкавэдисты! — сказала Иванна.

— Инженерно-технические части, — тоном осведомленного человека поправил невесту Герета. — Они строят укрепления вдоль границы, аж до полесских лесов. Целые села мобилизованы, возят к ним камень, цемент, железо. Каждый такой их дот на шесть-семь этажей под землю уходит. Батальон может в нем разместиться!

— Неужели целый батальон? — удивился Гудим-Левкович. — Когда я служил в Перемышле, то даже его форты не могли вместить такого количества солдат.

— Мне известно точно: батальон! — тихо подтвердил Герета.

— С Гитлером договор, а границу укрепляют. Чудеса! Ради чего, спрашивается? — усмехнулась игуменья.

Герета не без иронии ответил:

— Мать игуменья всерьез думает, что Гитлер придает значение договору с этими безбожниками?

— Поскорее бы разувериться! Дай господи! — сказала игуменья и перекрестилась.

Вошедший Ставничий покосился на нее и прошептал:

— Панове, не забывайте нового правила: тут о политике больше не говорят. Особенно сейчас, когда и у стен уши...

До старого дьяка дошел смысл этого предупреждения. Он всполошился и, прикладывая к губам измазанный горчицей заскорузлый палец, угрожающе зашипел:

— Тш-шш!

Рассуждая вслух, отец Теодозий сказал, разводя руками:

— А к столу пригласить придется. Неудобно все же — квартирант...

Пока капитан Журженко причесывался у себя в комнате перед зеркалом, Зубарь орудовал у репродуктора, и вскоре комнату заполнили мелодии популярных песенок тех времен. Под звуки эти в комнату вошел Ставничий и, кланяясь, сказал:

— У нас маленькое семейное торжество. Милости прошу к скромному столу. Все будут рады видеть вас, граждане командиры... Простите, я не разбираюсь в званиях...

— Да это и не суть важно, — сказал, улыбаясь, Журженко, застегивая ворот гимнастерки. — Меня зовите просто Иван Тихонович. А это старший лейтенант Зубарь, Николай Андреевич.

Когда они вслед за священником вошли в светлицу, капитану освободили место между адвокатом Гудим-Левковичем и стареньким дьячком. Зубарь сел рядом с Юльцей, и та сразу принялась угощать его. Зубарь покосился на этикетки бутылок.

На противоположной стороне стола словоохотливый Гудим-Левкович занялся капитаном и, пододвигая ему бутылку с вишневой наливкой, сообщил:

— Мы с вами почти коллеги, капитан. На заре юных лет и я был командиром. Правда, служил в драгунах, сперва здесь, в Перемышле, потом в Бродах.

— Вы служили в царской армии? — спросил Журженко адвоката.

— В царской, да не в русской, — засуетился Гудим-Левкович. — Броды ведь тогда Австро-Венгрии принадлежали, а я служил ротмистром тяжелой кавалерии его императорского величества Франца-Иосифа... Был такой грех! Ха-ха-ха! И в русский плен попал в таком звании, а ваша революция из плена меня освободила. Бывают такие камуфлеты!

Подняв свою рюмку с вишневой наливкой, Журженко поднялся и торжественно сказал:

— Разрешите поблагодарить вас за доброе гостеприимство и поднять бокал за здоровье молодоженов...

Гудим-Левкович осторожно тронул капитана за локоть и шепнул:

— Извините, но это еще не свадьба. Сегодня у них только обручение. Так сказать, прелюдия.

Желая выручить смутившегося капитана, Ставничий обратился к гостям:

— Товариство! Наш гость желает напутствовать голубят.

Журженко улыбнулся. В его зеленоватых глазах промелькнула добродушная ирония. Он не забыл еще первого отпора Иванны.

— Будем говорить прямо: мы не столько неожиданные, сколько непрощенные гости. Чего греха таить! Тем не менее я хочу пожелать молодым людям, решившим соединить свои судьбы в то время, как их земля наконец освобождена, счастья. Я хочу пожелать, чтобы их жизнь была на уровне событий, которые мы переживаем. Чтобы ветер с Востока, какой ворвался и в это тихое пограничное село, укрепил вашу волю, сделал целеустремленными желания, показал самую верную дорогу к будущему...

— Простите, капитан! — еще злее, чем раньше, блеснув глазами, перебила его Иванны. — А что, собственно говоря, нового принес нам этот «ветер с Востока»?

— Доню! Как не стыдно! — остановил Иванны Ставничий.

Чего-чего, но подобного вопроса Журженко никак не ожидал. Он заметно смутился, подыскивая и не сразу находя нужные слова для ответа.

— Как — что? И вы еще спрашиваете! Самую справедливую конституцию. Право на труд и образование. Возможность повсюду говорить на своем родном языке... Ну вот университет во Львове открыли для местного украинского населения. А сколько лет шла за него борьба! Сколько крови было пролито! Студент-украинец Адам Коцко был убит в начале века в этом университете за то, что добивался права учиться на родном языке. Вы что, не помните памятника Коцко на Лычаковском кладбище? Девушка-украинка, склонив голову, скорбит над его могилой. А сейчас в здании, где была пролита кровь Адама Коцко, могут свободно учиться люди разных национальностей.

— Это сказочки для маленьких детей! — выкрикнула, окончательно взрываясь, Иванны. — То, что вы говорите, хорошо звучало, когда вы сюда пришли, на митингах, а на деле... — она махнула рукой, — а на деле — мыльные пузы-

ри. Лично я не вижу никакой разницы между тем, что было...

— Иванна, пшестань! — окончательно растерявшись, неожиданно по-польски выкрикнул священник.

— Я, папа, уже двадцать лет Иванна! — воскликнула дочка.

Попытался утихомирить невесту, попробовал осадить ее и Роман, но безуспешно.

ЖУРЖЕНКО НЕ СПИТСЯ

Задремавший было дьячок Богдан проснулся и затянул «Многая лета», на него зашикали. Решительно отстранив жениха, Иванна, глядя в упор на капитана, еще более красивая в своем гневе, взволнованно продолжала:

— Разве я неправду говорю? Ну, если вы честный человек, признайтесь: сказала чистую правду! Как была несправедливость, так и осталась, и никакие ваши лозунги не в силах прикрыть ее!..

Выскочив из-за стола, захлебываясь от рыданий, Иванна хлопнула дверью и выбежала во двор, под звездное небо.

Роман Герета последовал за невестой, чтобы успокоить ее. В тягостной тишине, наступившей после исчезновения молодых, поднялся и Журженко.

— Спасибо за гостеприимство, — сказал он тихо. — Но, поверьте, не мы виноваты, что так получилось. Пойдемте, старший лейтенант. Завтра надо вставать спозаранку!

...Однако до самого утра Журженко не мог заснуть в маленькой комнате на узкой и жесткой кровати. Он повторял про себя каждое свое слово, сказанное там, на заручинах, вдумываясь в его смысл и приходил к выводу, что говорил только правду и не было в его словах ничего, что могло бы вызвать такую бурную реакцию. Красная Армия завоевала свободу миллионам западных украинцев, соединила их с народом Советской Украины, она принесла сюда настоящее счастье. Принесла не «лозунги», как выкрикнула Иванна, а очевидную для всех сущую правду, заметную даже врагам, как ее ни поворачивай, с какой стороны к ней ни подходи.

Журженко с юных лет жил на советско-польской границе, восточнее Збруча. Он не раз встречался с перебежчиками из Западной Украины, слышал их рассказы о кровавом умиротворении местного населения жандармами, о так называемых пацификациях: целые села сжигались тогда за найденный портрет Шевченко или за экземпляр советской газеты. В строительном институте, где учился Иван Тихонович, старичок, преподаватель геометрии, много рассказывал о том, как он бежал из Львова в Союз: несколько лет не мог он найти там работу по специальности. Он рассказывал о борьбе за украинский университет, о том, что многие, желающие попасть в него, вынуждены были учиться тайно, опасаясь преследования полиции.

Почему же так взбеленилась за столом эта красивая попадянка? Кто настропалил ее против того, о чем говорил Журженко?

До мобилизации в инженерные войска он работал во Львовском водоканалтресте. Тогда произошел случай, который заставил его и многих других задуматься над тем, что все не так-то просто в городе, где еще недавно один митинг, полный народного ликования, сменял другой.

Воскресным вечером на открытом воздухе в предместье Клепаров для жен и детей начальствующего состава Красной Армии демонстрировали фильм «Шуми, городок». Во время сеанса приподнялся люк подземной канализации, и чья-то рука выбросила из темноты под синий лучик стрелоктавшего киноаппарата тяжелую противотанковую гранату немецкого образца. Ее осколками шесть женщин и детей были убиты, девять ранено. Человек, выбросивший гранату, скрылся в подземелье разветвленного коллектора канализации.

Через несколько дней органы охраны государственной безопасности напали на след подпольной организации и арестовали пять сотрудников Водоканалтреста. Это были молодые ребята-украинцы. Они ходили в вышиванках — расшитых украинских сорочках, участвовали в драмкружке, танцевали гопака и гуцульский «аркан», а самое главное — почти на каждом собрании распинались в своей любви к освободившей их Советской власти. И как-то не верилось тому, что услышал на закрытом собрании партийной организации Журженко: все пятеро были «боевой» организации украинских националистов, и их вожаки,

связанные с немецкой военной разведкой, для отвода глаз, чтобы легче было вести свою подрывную работу, посоветовали им прикидываться сочувствующими Советской власти.

«Но ведь те действовали скрытно, — размышлял Журженко, — всячески маскируя свои взгляды, а эта девушка открыто выразила свою враждебность к новым порядкам. Чем вызвана ее вспышка и слезы?»

Что-то тут не чисто! Он решил вечером поговорить с Ивановой и выяснить, что кроется за ее негодованием.

ЮЛЯ БОИТСЯ «ДЛИННЫХ РУК»

От Сана тянуло утренним густым туманом. Он проник в открытое окно, заползал под одеяло к капитану Журженко; тот долго еще ворочался и слышал пересвист немецких пограничников, «грэнцшутцен», на сопредельной стороне.

Утром вместе с Зубарем подошли они к своему «объекту». Официально он назывался «Полевая почта 4567». Для них за этими цифрами раскрывалось мощное сооружение.

Железобетонный дот, или долговременная огневая точка, способная вместить, как это предположительно утверждал Герета, до батальона воинов, глубоко ушел в землю близ Сана. В оборонных мероприятиях тех лет немаловажная роль отводилась так называемому железобетонному поясу, который, по типу линии Маннергейма в Финляндии или линии Мажино во Франции, должен был наглухо закрыть границу. Еще и поныне в прибрежных лесах Сокальщины, Рава-Русского района и на Волини можно встретить ставшие теперь ненужными укрепления подобного типа, которым так и не удалось выполнить свою роль в момент нападения гитлеровцев на Советскую страну. В тридцатые годы их строили поистине бешеным темпом, бросая на их сооружение огромные средства и людские резервы. Журженко с Зубарем подошли на заре к одному из сооружаемых дотов. Крестьяне и красноармейцы сбрасывали на его железобетонное жесткое покрытие привезенную издали на грузовиках и подводах землю.

Другие строители, взобравшись на макушку дота, ма-

скировали его, укладывая на бетоне тяжелые пласты зеленого дерна, чтобы ничем не выделялась на местности огневая точка, чтобы как можно лучше сливалась она с прибрежным ландшафтом.

Штаб укрепленного района располагался в соседнем селе Нижние Перетоки. Возвращаясь оттуда, Зубарь заметил впереди на проселочной дороге девушку. С плетеной корзинкой в руке, она легко шагала, приминая пыль белыми сандалетами. Ее золотистые волосы были прикрыты газовым платочком. Короткое платье из шотландки обнажало длинные загорелые ноги.

— Не узнаете эту принцессу, капитан? — спросил Зубарь.

— Не узнаю. Кто это?

— Да подружка вашей поповны! Догнать и перегнать! — решает Зубарь.

— Не стоит, Зубарь. Отбрест, как вчера ее подруга.

— Проверим, кто из нас лучше знает эту тактику, — тоном бывалого ухажера решил Зубарь и, надвинув поголубе на лоб фуражку, ускорил шаг.

Делать нечего, Журженко тоже прибавил шагу. Когда они поравнялись, Зубарь, козыряя, осведомился у Юли Цимбалистой:

— Куда торопимся, уважаемая?

— Да вот зайду на минутку к Иванне, а потом во Львов на практику.

— У вас есть попутчики. Капитан тоже командирован во Львов, сейчас едет.

— А вы недолго у Иванны задержитесь? — спросил Журженко.

— Ровно столько, чтобы не опоздать к поезду.

— Тогда лады! — радостно сказал Журженко. Ему было приятно иметь такую попутчицу.

Подмигивая капитану и показывая на Юлю, Зубарь сказал:

— Вот видите, и не кусается. А вы боялись подойти!

— Здравсте! — Юля засмеялась. — А с какой стати я должна кусаться?

— Ну, хотя бы из чувства солидарности с вашей подругой, — сказал Журженко.

— Ах, вон вы про что! — вспомнила Цимбалистая. — Не сердитесь, ради бога, на Иванну и не придавайте особого значения ее словам. Они вырвались у нее случайно от большого личного несчастья. У Иванны большое горе...

— Какое горе? — спросил Зубарь и галантно взял из рук Юли корзинку.

Цимбалистая рассказала грустную историю Иванны. Дорога, по которой шли они, отдаляясь от Сана, потянулась косогородами, зажатая полями наливающейся пшеницы.

— Я сама настаивала, чтобы Иванна послала документы в университет, — горячо говорила Юля, — а она колебалась после стольких отказов в прежние времена и в конце концов послала их тайком даже от меня. Она ведь очень гордая, Иванна! А почему я настаивала? Меня же в медицинский приняли без всяких. А ее и подавно должны были принять: лучшая ведь ученица гимназии. Весь Перемышль ее знал.

— Но все-таки дочь попа, — осторожно заметил Зубарь. — Так сказать, нетрудовой элемент.

Журженко сильно дернул его за руку, а Цимбалистая метнула острый взгляд на старшего лейтенанта. Даже вздернутый ее носик, посыпанный веснушками, покраснел от негодования.

— Дочь попа? Да? Тогда почему же приняли без всяких в университет Зенон Верхолу из наших Нижних Перетоков? Его отец маслобойку в селе имел, двенадцать батраков на него работали, а сам он теперь до фашистов убежал. Туда! — И Юля показала рукой на открывшийся снова противоположный обрывистый берег Сана, по которому прохаживался на виду у всех гитлеровский пограничник в рогатой каске.

Внимательно посмотрел Журженко на чужого солдата, разгуливающего так близко, и протяжно сказал:

— Видите ли, Юля, конечно, Николай Андреевич переборщил. Мы следуем правилу: сын за отца не отвечает и дочь также. И быть может, тот же самый Зенон Верхола...

— Да вы его не знаете! — распалилась Юлька. — Он сам тоже штучка хорошая. Еще в гимназии, в Перемышле, с националистами путался. Подручным у Степана Бандеры был. Дружил с Лемиком, тем самым, что в октябре

тридцать третьего убил во Львове секретаря советского консульства Андрея Майлова. Мы-то видели, как польская полиция приезжала в Нижние Перетоки, чтобы арестовать Верхолу. Но его и след простыл — убежал в Данциг от ареста...

— Молодой Верхола или его отец? — переспросил капитан.

— Конечно, молодой! А кто же иной? Зенко! — воскликнула Юля. — Он и гимназию не сумел закончить из-за той политики. Из восьмого класса его прогнали. А у Иванны... Ой! — вдруг смешалась Цимбалистая и, бледнея, протянула: — Що ж я наробыла? Только, ради бога, ничего не делайте. Ничего этого я вам не говорила... Хорошо? Бо у них — длинные руки...

НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Журженко постарался успокоить девушку и по дороге во Львов узнал от нее такое, что заставило его после выполнения своих дел задержаться в городе. Он направился во Львовский университет и добился приема у ректора Козакевича.

Не подозревая, какой сюрприз его ожидает, Дмитро Каблак в это время, примостившись на краешке письменного стола, заигрывал с миловидной сотрудницей приемной комиссии, которая по его поручению сортировала дела. Волосы сотрудницы были заплетены коронкой, и в них виднелось несколько ромашек.

Каблак поправил одну из падающих ромашек и спросил:

— Пани Надийка не знает еще танго «Осенний день»? Да не может быть. Большое упущение...

Болтая ногами в брюках-гольф, он стал насвистывать мелодию, и пани Надийка, польщенная тем, что ее начальник позволяет себе такую интимность в служебном кабинете, вперила в него свои томные, волоокие глаза, отложив в сторону дела. Каблак сейчас был совсем иным, чем при встрече со Ставничей: любезным, предупредительным до притворности. Таких зовут в Галиции одним словом: «бавидабек» — развлекатель дам.

Когда зазвонил телефон, Надийка лениво взяла своей

полной рукой трубку, но, опознав по голосу того, кто звонил, преобразилась в лице и с испугом передала трубку Каблаку.

Тот сразу прыгнул со стола, сделался серьезным и несколько раз повторил:

— Слушаю... Слушаю... Так... Так... Будет сделано... — и заметался по кабинету. Он быстро выхватил из шкафа папку с делами студентов и, уже не глядя на пани Надийку, быстро вышел.

В кабинет ректора университета Козакевича Каблак входил уже чеканным шагом, слегка наклонив вперед голову, замкнутый, исполнительный служака, обученный заранее отгадывать, а подчас и предупреждать вопросы куратора.

Поклонившись ректору, седому красивому человеку в очках с золотыми ободками, Каблак скользнул взглядом по сидящему в мягком кресле наискосок от ректора капитану Журженко. Появление здесь военного насторожило Каблака, но он сразу различил на его черных петлицах значки военно-инженерных войск и успокоился. Он еще раз поклонился и вопросительно посмотрел на ректора.

Ректор, уставший от потока посетителей, поднял кверху склоненное над бумагами моложавое еще лицо.

— Скажите, Дмитро Орестович, — спросил он усталым голосом, — кто вам дал право самолично отменять прием Иванны Ставничей?

Каблак переменился в лице, но, овладевая собой, переспросил:

— Кого-кого?

— Вы принесли дело о приеме Ставничей? Дайте мне его. — Ректор полистал тоненькую папку. — Вот этой девушки! Посмотрите фотографию! — И ректор протянул ему через стол снимок, приложенный к заявлению.

Каблак долго всматривался в фото, выгадывая время, вертел его в руках, а потом, пожимая плечами, заявил:

— Первый раз вижу! — и тут же сообразил, что совершил непоправимую ошибку: ведь первая же очная ставка с этой поповной уличит его во лжи, спутает все его козыри! Надо было не переспрашивать «кого-кого?», не отпираться при виде фото, а рубануть прямо: дочь униатского свя-

щенника, социально чуждый элемент, не для таких, мол, паразиток Советская власть университет открыла! И попробуй докажи тогда, что Дмитро не прав. Наоборот, как бы сразу взлетели его шансы. Ведь они так любят сверхбдительных людей!

Ректор передал фото капитану и сказал:

— Странная история!

— Простите, Иван Иванович,— вмешался Журженко,— разрешите вопрос.— И, не дожидаясь согласия ректора, с ходу спросил: — Ваша фамилия Каблак? Не так ли? Дмитро Каблак?

— Ну, допустим, Каблак... А что? — протянул секретарь приемной комиссии.

Журженко оглядел приметные гольфы Каблака, его ноги в узорчатых чулках, его напояженную голову с хитрыми, пронырливыми глазами и остро спросил:

— Зачем вы нас обманываете? Какая польза вам от этого? Ведь вы отнюдь не в первый раз видите эту девушку!

Деланно улыбаясь, Каблак развел руками и сказал:

— Нет, я вижу ее в п е р в ы е... А собственно говоря, какое право вы...

— Но ведь это вы, именно вы отсоветовали Иванне Ставничей идти к ректору. Вы запугивали ее ссылкой в Сибирь и белыми медведями. Знаете, как это называется?

Каблак оскорбленно пожал плечами.

— Пане... то есть... товарищу ректор... Это чистый наговор. Это нарушение нашей конституции...

Журженко возмутился еще сильнее. Юля Цимбалистая в самых мельчайших подробностях рассказала ему услышанную ею от Иванны историю отказа в приеме ее в университет.

— Наговор? — воскликнул капитан.— Скажите... вы... А принятый вами в университет Зенон Верхола, сын владельца маслобойки из Нижних Перетоков, тоже наговор?

Каблак побледнел. Он пытался оправдаться, но у него перехватило дыхание, и он только молча размахивал своей волосатой рукой. Ректор кивком головы остановил взволнованного капитана и спокойно решил:

— Хорошо, Дмитро Орестович! Идите! С этим вопросом мы еще разберемся...

Непринужденной походкой, стараясь выглядеть как

можно спокойнее, Каблак покинул кабинет. Едва захлопнулась за ним обитая клеенкой дверь, как капитан воскликнул:

— Ну видите, какая bestия?! Зачем вы держите в университете таких людей?

— Тем более неосмотрительно было с вашей стороны выкладывать на стол все козыри! — поучительно, как ребенка, сказал ректор, укоризненно кивая седой головой. — Ну зачем вы кричали на него? Для чего фамилию Верховы называли? Разве недостаточно, что вы мне одному рассказывали об этом типе? Ай-ай-ай! Мы бы сами осторожно разобрались во всем.

Уже осознав свою ошибку, но из ложного стыда не сразу сознавшись в ней, Журженко попытался возражать:

— Если вы мне не верите, вызовите сюда Ставничую. Напишите ей несколько слов. Хотите, я сам передам ей ваш вызов?..

— Не волнуйтесь, капитан! Что будет нужно — сделаем, — заметно нервничая, сказал ректор, утомленный настойчивостью военного.

Козакевич не любил, когда посторонние вмешивались в дела руководимого им университета. Он поднялся, протягивая капитану руку и давая понять, что аудиенция окончена.

ЗАМЕТАЮТ СЛЕДЫ

Капитан Журженко, разгоряченный перепалкой, проходя по заполненным студентами коридорам университета к выходу, не заметил, что поджидавший его за колонной Каблак указал на него сухощавому черномазому студенту в лыжной шапке-каскалке, и тот проводил капитана пристальным, запоминающим взглядом. Это и был тот самый Зенон Верховла, друг террориста Лемика, о котором рассказала ненароком Журженко и Зубарю Юлия Цимбалистая.

В июне 1933 года на берлинской конференции украинские националисты поставили своей задачей совершать террористические акты против представителей Советского Союза. Вот тогда-то приятель Верховы — Лемик, такой же, как и он, гимназист-недоучка, проник в дом советско-

го консульства по улице Набеляка во Львове, одним выстрелом из пистолета убил сошедшего к нему со второго этажа секретаря консульства Андрея Майлова, тяжело ранил сторожа консульства, добродушного седого старичка. Эхо этих двух выстрелов отозвалось на судьбе Верхолы. Он бежал в Данциг под опеку шефа данцигского отделения ОУН Андрея Федины и прожил там свыше пяти лет. Вместе с гитлеровскими головорезами в 1939 году он нападал на польскую почту в Данциге, убивал и калечил мирных почтовых служащих, потом, 1 сентября 1939 года, в арьергарде гитлеровских войск ворвался в Польшу, дошел с ними до окраин Львова, а когда они откатились за Сан, по заданию гитлеровской военной разведки остался во Львове. И было бы все хорошо в его тайной и явной судьбе, не пояись сейчас в университете дотошный крикун-капитан, озабоченный судьбой этой «квочки» — тулиголовской поповны. Надо было действовать, и действовать очень быстро!

Шагавший в это время по Львову Журженко обдумывал события сегодняшнего дня, который начался так удачно. Если бы не его горячность и неосторожная обмолвка у ректора о Верхоле, все можно было бы считать отличным. Опрометчиво повел он себя.

По улицам шли прохожие, по гранитным торцам мостовой то и дело проезжали экипажи и пролетки, изредка позванивая, пронесился маленький львовский трамвайчик. Отстраняясь от уличного шума, Журженко мучительно искал выхода, как вдруг услышал, что его кто-то окликает.

— Иване Тихоновичу! Иване Тихоновичу! — донеслось из вылета боковой улочки Богуславского.

Журженко оглянулся и увидел наполовину вылезшего из люка канализации знакомого бригадира Водоканалтреста Голуба. Он приветственно махал ему засаленной кепкой. За те двадцать месяцев, что Журженко, присланный сюда, во Львов, сразу же после его освобождения, проработал в тресте, он успел подружиться с этим милым стариком, бывалым подпольщиком. Голуб воевал здесь за Советскую власть начиная с конца двадцатых годов. Он много путешествовал по камерам разных тюрем, пока не увидел на Лычакове первых красноармейцев. Ему были

хорошо знакомы Луцк и Дрогобычская тюрьма, Вронки и застенки в Станиславе, даже за сложенными из «плачущего» камня стенами старинной Свентокшижской тюрьмы на Келешизме довелось посидеть Голубу.

Голуб помогал Журженко разбираться в местной обстановке, рассказывал ему о скрытых, пережившихся националистах, людях с «двойным дном», которые лебезили перед работниками, приехавшими с Востока, а сами поглядывали в сторону Сана, за которым стояли в ожидании своего часа немецкие танки. Вот почему, увидев сейчас Голуба, вылезающего в его обычной



брезентовой куртке из подземного царства, где он чувствовал себя как дома, Журженко несказанно обрадовался и пошел навстречу бригадиру. Он подошел к люку, огороженному треногой с красным кругом, и, пожимая руку старика, сказал:

— Рад, очень рад вас видеть.

— Как же это так: вы в городе, а до меня на Персенкувку не зашли? — сказал Голуб укоризненно. — Или, быть может, загордились тем, что капитанские шпалы навесили, и не хотите до старого капрала на чарку горилки завитать?

— Да я же сегодня только приехал, Голубе! И попал в такой переплет, что и не знаю, как теперь быть! Давайте сядем тут на приступочке, я вам расскажу все, а вы, как человек мудрый, местный, подскажите мне, что я должен делать.

Усаживаясь вместе с Голубом на теплую плиту лестницы, ведущей в подъезд старого барского дома, Журженко

не обратил внимания на то, что по другой стороне медленно прошел, поглядывая мимоходом на них, Зенон Верхола. А тот не выпускал ни на минуту капитана из поля зрения во время его блужданий по городу, не без удовольствия засек встречу Журженко с каким-то стариком, который очень не понравился ему.

— Да, инженере, вы поторопились, — сказал задумчиво Голуб, посасывая прокуренную трубку. — С такими типами из-под темной звезды надо действовать осторожно, потихоньку, надо уметь перехитрить их. Все молодчики из ОУН ведь обучались у иезуитов, а вы пошли в открытую, как наивный хлопец. Нельзя так!

— А поправить дело можно? — спросил тихо Журженко.

Голуб помолчал, а потом сказал, как бы рассуждая вслух:

— Ну что же, ректор ректором, а я бы на вашем месте сходил завтра в этот дом. — И Голуб показал на современное серое здание напротив, стоящее на углу улицы Дзержинского и Кадетской, спускающейся вниз, от взгорьев Стрыйского парка.

На дверях этого дома краснела вывеска:

**УПРАВЛІННЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ДЕРЖАВНОЇ
БЕСПЕКИ УРСР ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

— Мудрые люди сидят там, — продолжал Голуб, — понимающие людские души. И наши хлопцы там есть, местные. Коммунисты. Проверенные в тюрьмах. Им доверие оказали большое. Понимает, должно быть, начальство, что никто так, как они, не знает города и то, что происходит не здесь на глазах, а в тишине ночной, в подполье оуновском. Мы, старые коммунисты, уже издавна ведем с ним жестокую борьбу.

— Вы правы, Голубе, я пойду завтра с утра в этот дом! — сказал Журженко.

— А теперь, инженере, — сказал Голуб, вставая, — мы пойдем с вами в Рынок. Сегодня была у меня получка, а в Рынке урядует мой старый побратим Дмитрив буфетчиком. Так вот, мой друже Дмитрив, вернее, жена его угостит нас сейчас такими флячками по-львовски, что пальчики оближешь! Файные флячки у нее... Лучших до самого Кракова не найдете!

Тон Голуба был категорический. Решительными, резкими движениями сильных рук он столкнул на прежнее место крышку канализационного люка и отнес на тротуар треногу с красным кругом, открывая снова движение по улочке Богуславского, упирающейся в дом, где работали «мудрые люди».

ПРИШЛИ ТЕЛЕГРАММЫ

А часом позже в алтаре маленькой деревянной церкви в Тулиголовах старенький дьяк Богдан с шумом открыл жестяную крышку для сбора приношений и высыпал на металлическое блюдо разнокалиберную мелочь. Послужив пальцы, дьяк ловко начал сортировать и пересчитывать деньги. Тем временем Роман Герета, только что отслуживший в порядке практики службу вместо отца Теодозия, прихорашивался, как всегда, около зеркала, освещаемого двумя восковыми свечками. Он любил выходить из церкви подтянутым, хорошо причесанным, красивым.

— Холера ясная! — воскликнул дьяк.

— Что такое, Богдане? — оглянулся Герета.

— Да какой-то нехристь польский злотый до кружки кинул. А куда мы его сдадим? Разве до президента Мосцицкого в Швейцарию отошлем?

— Всего-то денег сколько?

— Минуточку... Шестнадцать рублей сорок копеек, — сказал, жалостливо вздыхая, дьяк.

— Не богато, — согласился с ним Герета. — Эх, Тулиголовы, Тулиголовы! Тут можно ноги протянуть с голода, если священником остаться. А отец Теодозий мечтает еще крышу новым гонтом перестлать!

— Нечего бога гневить, пане Романе, — подобострастно сказал дьяк. — Кому горевать, но только не вам. Такую красуню в невесты взяли! Сыграете свадьбу, и вызовет вас митрополит до Львова. Там и молящихся больше, и капитул рядом. А вот каково-то мне, горемыке?

На погосте среди белых, известкой покрашенных крестов появился письмоносец Хома и спросил старушку, выходящую по деревянной лестничке из церкви на мураву:



— Слава Иисусу, титко Марийка! Пан богослов еще там?

— Навеки слава!.. Там, там, в захристини, переоблачаются, — прошамкала старушка беззубым ртом.

— Ну, слава богу, не надо будет до него в Нижние Перетоки бежать! — облегченно сказал Хома и, сняв картуз, перекрестился.

Войдя в церковь и обогнув маленький алтарь, Хома просунул голову в захристиня и, повышая Герету в сани, спросил:

— Можно до вас, ваша егомосць?

— Заходи, Хома!

— Дешеша до вас, ваша егомосць. Как бы нюхом чуял я, что вы еще здесь. Сэкономил подошвы на три километра. — И он протянул Герете сложенную вчетверо телеграмму, другую оставляя в зажатом кулаке.

Герета прочел текст, который не доставил ему большой радости:

НИЖНИЕ ПЕРЕТОКИ ДРОГОВЫЧСКОЙ ПАРАФИЯ ЦЕРКВИ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ РОМАНУ ГЕРЕТЕ ТЧК

ПРОШУ СРОЧНО ПРИБЫТЬ ДЕНЬ МОЕГО РОЖДЕНИЯ ТЧК ДМИТРО.

Телеграмма была кодированной и обозначала опасность. Герета растерянно оглянулся и, заметив сжатую в кулаке у Хома вторую депешу, спросил:

— А та кому?

— Та до вашей невесты!

— Давай передам, — заподозрив неладное, потребовал начальственным тоном Герета.

— Да оно не полагается, — замялся Хома, — панно

Иванна сами расписаться должны. По советской инструкции мы должны вручать депеши лично, под расписку получателю...

— Глупости! — прикрикнул богослов. — Ты от сватов мужиков такие формальности требуешь, а я твой будущий пастырь и обманывать тебя не собираюсь. Давай! — И он почти силой вырвал у озадаченного почтальона смятую телеграмму.

Когда Хома удалился, Герета осторожно вскрыл ее и, читая, почувствовал, что у него начинает кружиться голова.

ТУЛИГОВЫ ДРОГОБЫЧСКОЙ ОБЛАСТИ УЛИЦА ПОД ДУБОМ
ПАРАФИЯ ПРИ ЦЕРКВИ СЯТОЙ ПАРАСКЕВЫ ИВАННЕ ТЕОДОЗИЕВНЕ
СТАВНИЧЕЙ ТЧК

ОТКАЗ ПРИЕМЕ УНИВЕРСИТЕТ ВЪЗВАН ДОСАДНЫМ НЕДОРАЗУ-
МЕНІЕМ ТЧК ПРОСИМ ЯВИТЬСЯ ВО ЛЬВОВ ПОЛУЧЕНІЯ ОБЩЕЖИТІЯ
ОФОРМЛЕНІЯ СТУДЕНЧЕСКОГО УДОСТОВЕРЕНІЯ ТЧК

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИВАНА ФРАНКО КОЗАКЕВИЧ.

Герета оглянулся. Богдана поблизости не было. Слышно было, как шаркает метла в опустевшей церкви. Как всегда после службы, дьяк подметал деревянный пол.

— Вот тебе и свадьба! — зло прошептал Роман.

Он задумался и стал дробно постукивать пальцами по ясеневому комодику. Потом достал из-под реверенды лоснящийся от времени бумажник, перетянутый резинкой, и аккуратно спрятал в него телеграмму, адресованную Иванне. Свою же поднес к пылающей свече и поджег. Он сосредоточенно следил, как горит телеграмма, как завертывается в его длинных тонких пальцах быстро сереющий пепел. Потом Герета растер пепел в порошок на том самом подносе, где подсчитывал выручку дьяк, и кликнул:

— Богдане!

— Недобрые вести, пане богослов? — спросил участливо дьяк.

— К вечерне не буду, Богдане, — машинально сказал Герета, думая о другом. — Предупреди отца Теодозия. И, быть может, завтра к тихой заутрене тоже не поспею. Срочные дела.

АНОНИМКА

Капитан Журженко, идя на следующий день по знакомой улице Дзержинского, не знал, конечно, что накануне в бюро пропусков управления Народного Комиссариата государственной безопасности УССР вошел никому не известный человек.

Стараясь не обращать на себя внимания вахтеров, выдающих пропуска, он опустил в большой дубовый ящик для заявлений конверт.

Письмо неизвестного сразу же пошло по предназначенным ему каналам и добралось до начальника управления старшего майора государственной безопасности Самсоненко. Тот в свою очередь передал его начальнику одного из отделов — Садаклию.

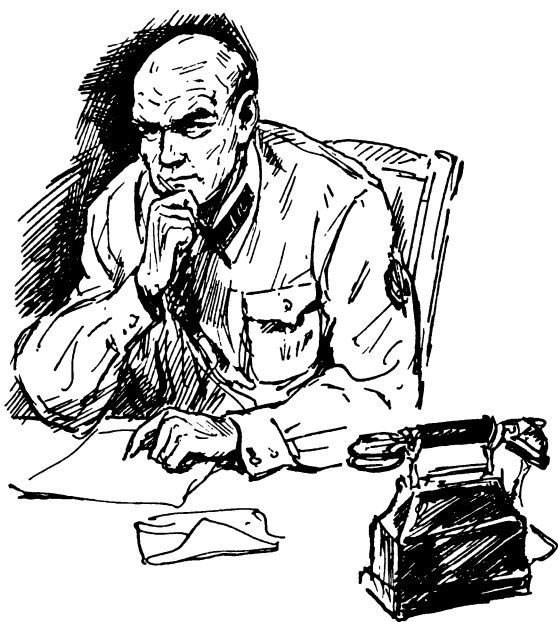
Садаклий, человек местный, уроженец старинного городка Корец на Волыни, не один год проводил подпольную работу, выполняя важные задания, предупреждающие действия врагов против Советского государства.

Когда после освобождения Львова Садаклий стал работать в аппарате областного управления государственной безопасности, опыт местного жителя помог ему распутать не одно сложное дело. Но порученное ему сегодня дело выглядело очень странным. Раздумывая над письмом, он почувствовал в нем какую-то вторую, тайную цель.

На листке, вырванном из школьной тетради, изготовленной на львовской фабрике «Светоч», каллиграфическим почерком по-украински было выведено:

Зря вы, товарищи с Востока, держите за решеткой наших хлопцев из Водоканалтресту, то простые мочеморды и в политику никогда не вмешивались. А бомбу в жен ваших командиров бросил по наущению инженера Ивана Тихоновича Журженко совсем другой человек, который ударил сейчас через «зеленую границу» до Кракова. Инженер Журженко, чтобы замести следы, надел военную форму и сейчас строит укрепления в Тулиголовах над Саном, а по ночам передает сведения об этих укреплениях гитлеровскому абверу.

Симпатик Советской власти.



Между тем личное дело инженера Ивана Журженко, затребованное Садаклием из Водоканалтреста, решительно опровергало анонимные наветы неизвестного «симпатика».

«Комсомолец ленинского призыва 1924 года. Член ВКП (б) с 1932 года. Успешно закончил силикатный институт в Каменец-Подольске и был направлен на работу в только что освобожденный Львов», — читал Садаклий. Самые лучшие характеристики. Как мог враг быстро затянуть его в свою паутину?

Автор анонимного письма, каллиграфически написанного на листке школьной тетради, несомненно галичанин. Уроженцу Надднепрянской Украины несвойственно выражение «симпатик». Да, письмо написал галичанин! Даже не волыняк, а именно уроженец Галиции.

Для чего?

Участники задержанной националистической «боевки», бывшие служащие Водоканалтреста, действительно были выпивохами-«мочемордами». Большую часть свободного времени они проводили в различных кабаках на окраинах

Львова. Однако это не помешало им. Садаклий имел точные сведения, устанавливать за пивными столиками тайные явки и встречи с курьерами, прибывающими через «зеленую границу», из той части Галиции, где стояли сейчас гитлеровские войска.

Садаклий полистал еще раз дело, посмотрел анонимное письмо на свет. Он взялся за трубку ВЧ, чтобы позвонить начальнику того укрепленного района, где служил сейчас Журженко, когда раздался звонок по внутреннему телефону.

Положив трубку аппарата ВЧ на прежнее место, Садаклий взял другую трубку. Вахтер снизу сообщал, что капитан-инженер Журженко просит выдать ему пропуск к уполномоченному по особо важным делам.

«Странное совпадение», — подумал Садаклий и тут же решительно крикнул в трубку:

— Дайте пропуск!

Визит был сверхнеожиданным.

Садаклий открыл несгораемый шкаф и бережно положил на одну из его полок личное дело инженера Журженко и анонимное заявление, разоблачающее его как опасного, умного врага.

Журженко спокойно вошел в кабинет и поздоровался. Особая работа, которую годами вел Садаклий и в подполье и в органах безопасности, научила его почти безошибочно распознавать людей с первого взгляда, разгадывать их скрытую жизнь, потаенные планы, улавливать самую простую, безобидную хитринку. Оказалось, однако, ни его фото, хранящееся в личном деле, ни заочно созданный воображением Садаклия портрет капитана не соответствуют его подлинному виду.

Это был прямодушный человек, высокий, загорелый, статный, с очень располагающим взглядом широко открытых и добрых глаз.

Сразу можно было сказать: вошел свой человек.

Волнуясь, рассказывал Иван Тихонович майору, как обманули Иванну, как солгал Каблак, рассказал он и о своей промашке, допущенной в кабинете ректора. Когда он назвал Зенона Верхолу, Садаклий насторожился.

Оуновский террорист Лемик, убийца секретаря советского консульства во Львове Андрея Майлова, был выпущен гитлеровцами из тюрьмы и находился на нелегальном

положении. Кто знает, быть может, в эту самую минуту он бродил по улицам Львова, проживая в нем по чужим документам? Его старый дружок Зенон Верхола мог бы навести на след Лемика.

— Ну и что с того, что Иванны дочь попа? — меж тем горячо доказывал Журженко. — Наша задача отрывать молодых людей от чуждой среды, перевоспитывать их и, если они искренне хотят учиться, помогать им!

Садаклию все больше и больше нравился этот капитан, с его страстностью, с глубокой заинтересованностью в судьбе посторонней, несправедливо обиженной девушки из Тулиголов. Он и сам любил помогать людям и глубоко уважал тех, кто не остается равнодушным к людскому горю. Тем более, когда обида, нанесенная человеку, могла вызвать недовольство Советской властью.

Но, с другой стороны, он не имел права забывать об анонимном письме.

— Скажите, Журженко, у вас есть личные враги? — спросил внезапно Садаклий и потер рукой эмблему с мечом у себя на рукаве гимнастерки.

— А у кого их нет? — мило и как-то застенчиво улыбнувшись, ответил Журженко. — Когда человек честно служит делу, отдавая ему душу и сердце, враги у него найдутся. Много ведь всякой дряни болтается под ногами. Возьмите, например, вот эту историю со Ставничей. Только врагам было выгодно натравить ее на нас!

— Пятерка националистов при вас была арестована?

— При мне.

— Что вы думаете обо всей этой истории со взрывом гранаты?

— Фашистская работа! Чистой воды!

— Могли подготовить этот взрыв те пятеро?

— Кто его знает? — задумался капитан. — Здесь веками иезуиты и церковь воспитывали в людях двурушничество. Голуб хорошо сказал мне: «У нас, брате, здесь есть такие люди, что днем на Карла Маркса молятся, а по ночам бегут к митрополиту руку целовать».

— Замечено точно, — сказал Садаклий. — А кто такой этот Голуб? Очень знакомая фамилия!

— Бригадир треста. Славный старик. И гордый. Настоящий человек. А есть подхалимы. Я одному бухгалтеру у нас выхлопотал бесплатную путевку в Моршин. Так вы



знаете, что он пытался сделать? Поцеловать мне руку! Да-да! Старый, седой человек, в отцы мне годится...

— Что вы хотите... — разводя руками, сказал Садакий. — Долгие годы в чужой неволе, зависимость от сильных мира сего, да еще другой нации, выработали в нестойких душах привычку к унижению, хитрости, двурушничеству. И здесь когда-нибудь мы сумеем снять путы с сознания людей, поможем им обрести полную духовную свободу. Так будет, но пока еще этого нет. Возьмите, к примеру, это типичное львовское приветствие. Идут два пожилых человека, снимают котелки и приветствуют друг друга

словами: «Естэм униженным слугой пана директора». Еще с австрийских времен наследство... Но мы отвлеклись. Вы мне так и не ответили: могли эти пятеро устроить выброс гранаты из люка?

— Все возможно, — сказал Журженко. — После истории с Каблаком я допускаю и такое. Посмотрели бы вы только, какими чистыми глазами смотрел он на ректора, когда говорил, что впервые видит Ставничую. Говорил и нагло врал. Он видел ее не раз и до университета, когда приезжал ловить рыбу на Сан, к ее жениху, в соседнее село Нижние Перетоки.

— У нее есть жених?.. — протянул Садаклий. — Почему же вы мне раньше этого не сказали?

— Есть, есть. Богослов один. Роман Герета.

Видимо что-то припоминая, Садаклий пристально посмотрел в угол комнаты, где чернел несгораемый шкаф, потом встал и сказал:

— Спасибо, товарищ капитан, что зашли. Действительно, история странная, но дело даже не в ней, а в том, что вы помогли нам установить ее связи с людьми, которые нас весьма интересуют. Когда вы возвращаетесь в Тулиголовы?

— Сегодня. Ночным поездом.

— В случае чего, мы свяжемся с вами через особый отдел укрепленного района. Дайте, пожалуйста, ваш пропуск...

ВЫСТРЕЛ НА ПЕРРОНЕ

Будь на месте Садаклия другой человек, неопытный и опрометчивый, Журженко не смог бы выйти снова так легко на освещенную уже косыми лучами заходящего солнца улицу Дзержинского. Садаклий отлично знал местные условия, умел разбираться в сложнейших провокациях, которые строили националисты вокруг честных, преданных по-настоящему Советской власти людей.

Одним из первых учителей Садаклия был начальник отдела Каменец-Подольского, а затем и Олевского пограничных отрядов Государственного Политического Управления Владимир Брайлей. Его и поныне помнят многие

старые чекисты. Внешне он никак не производил впечатления человека такой воинственной и смелой профессии, обладал феноменальной памятью и подлинно энциклопедическими знаниями.

«Никогда не торопитесь с выводами, — поучал Брэдлей Садаклий. — Ну, а если и надо будет торопиться, то торопитесь грамотно. Доверяя людям, проверяйте их и помните, что хороших людей значительно больше, чем мерзавцев. К Советской власти тянутся миллионы честных людей всего мира, и никаким другим учениям, ни церкви тем более с ее приторным, лживым благочестием, не остановить этот неизбежный процесс».

На всю жизнь запомнил Садаклий слова Брэдлея:

«Мы придем к вам на помощь, Садаклий, к галичанам и волынякам. Придем, когда немного окрепнем и когда вам будет особенно трудно».

Брэдлей говорил с той же взволнованностью, с какой теперь защищал судьбу посторонней, по существу, для него девушки Иванны капитан Журженко.

Как нелепо оборвалась жизнь Брэдлея! Он ехал в санях по заснеженному полю под Могилевом на Днестре искать склад бандитского оружия, переброшенного из Румынии охранкой — сигуранцей. В случае войны бандиты собирались взорвать Жмеринский железнодорожный узел. Диверсант Герман Апостол, сумевший прикинуться раскаявшимся, и завербованный им «ударник» везли Брэдлея и его друга, уполномоченного Мишиёнтека, и выстрелами из маузера застрелили их. А как нужны были бы оба чекиста сейчас здесь, в Западной Украине!

И еще вдруг подумал Садаклий: если анонимное письмо — заведомая провокация, то и в ней проскальзывает заметный интерес националистов к нашим укреплениям, сооружаемым по Западному Бугу и реке Сан. Надо будет сообщить на всякий случай начальнику особого отдела укрепленного района полковнику Соловскому содержание анонимного письма, предупредив при этом, чтобы ложной подозрительностью не причинить никакой обиды Журженко. Если бы анонимка оказалась правдой, тогда было бы в высшей степени неосмотрительно со стороны Журженко приходить сюда в роли защитника поповской дочери.

...Журженко прохаживался под огромными стеклянными сводами Главного львовского вокзала как раз в то время, когда к первому перрону подошел пригородный поезд из Перемышля. Будь Журженко поближе к паровозу, он увидел бы, как с чемоданчиком в руках, в легком кремовом пыльнике из первого вагона соскочила Иванна Ставничая.

Но как раз в то время, когда Иванна быстрыми шажками пересекла перрон и спустилась вместе с потоком других пассажиров в туннель, Журженко повернулся спиной к поезду. Ему очень хотелось пить. Было жарко. Он подошел к будке, откуда торчали краны с кипятком и холодной водой. Где-то рядом, обдавая паром пустеющий перрон, весело аукнул паровоз.

Гудок паровоза и заглушил одиночный выстрел из пистолета не установленного образца, пуля которого настигла Журженко в тот самый момент, когда он открывал кран.

Почувствовав острую, жалящую боль в ноге, он рухнул лицом прямо в лужу разлитой воды.

Облако паровозного пара скрыло от взглядов пассажиров убегающего между составами Зенона Верхолу, который снова начинал нелегальную жизнь.

«ТУДА ЗАХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!»

Иванна торопливо шла к Юльке. Зачем та вызвала ее срочной телеграммой?

Юлька Цимбалистая жила на квартире, или, как говорят во Львове, на станции, у одинокой старушки пенсионерки, в прошлом преподавательницы польского языка пани Уршули. Маленький домик пани Уршули, окруженный густым боярышником, находился в предместье Кульпарков, поблизости от аэродрома. Гул самолетов несколько не мешал Юле изучать анатомию и читать учебники по судебной медицине.

Ставничая была крайне удивлена, когда ей навстречу вынырнула из-за кустов высокая монахиня. Иванна сперва не узнала их недавнюю гостью мать Монику и, вздрогнув, отпрянула назад. Монахиня тихо прошептала:

— Не бойся, Иванна, то я. Сюда заходить нельзя. Отойдем...

Когда они перешли на другую сторону улицы. Мо-

ника, показывая на домик учительницы, властно сказала:

— Туда заходить нельзя! Засада! Понимаешь — засада. Тебя срочно ждет игуменья Вера. Пойдем...

— Но ведь Юлька прислала мне телеграмму!

— Боже, какое глупое дивча! — пожимая высокими острыми плечами, выпирающими из сутаны, прошипела Моника. — Телеграмму за ее подписью мог дать любой чекист. Понимаешь? Пойдем скорее...

Запыхавшись, они остановились у кованной железом высокой брамы женского монастыря сестер ордена святого Василия. Моника по-хозяйски дернула за круглое тяжелое кольцо двери, послышался звонок. Изнутри через глазок выглянула дежурная монахиня и, опознав Моника, гостеприимно распахнула дверь.

— Мать игуменья ждет вас, мать Моника, — сказала монахиня, почтительно кланяясь и пропуская их внутрь старинного монастыря.

Когда, поднявшись вслед за Моникой по скрипучей лестнице на второй этаж, Иванна вошла в келью игуменьи, она не поверила своим глазам. Игуменья сидела в мягком, удобном кресле, упираясь в его поручни упитанными, пухлыми, дородными руками, а по комнате расхаживал Герета.

— Ромцю, и вы здесь? Что это за комедия? — воскликнула Иванна.

— Я был бы очень рад, если бы все это обернулось только комедией! — торжественно и вместе с тем с наигранной грустью сказал Роман. — Дело куда серьезнее, Иванна!

— Да не томите душу. В чем дело?

— Каждую минуту вас могут арестовать! — с еще большей торжественностью заявил Роман.

— Меня? — Иванна засмеялась. — Да что я такого сделала?

— Случилось то, чего мы так опасались. Ваш любезный квартирант не забыл скандала, который вы закатили во время обручения, ни резких слов, запальчиво выкрикнутых вами по адресу Советской власти. Он написал на вас донос в энкавэдэ. Делу уже дан ход. Ваша подруга Юлька задержана. В ее квартире вас поджидали чекисты. Уже выписан ордер на ваш арест...

— Ч е к и с т ы? — перебила жениха Иванна. — Но

ведь это дитеняда!¹ Они могли с успехом арестовать меня в Тулиголовах, а не вызывать сюда!

— В Тулиголовах такой арест мог бы вызвать возмущение местного населения. Вас все знают, вы дочь любимого многими священника, а здесь все можно обделать шито-крыто! — вдохновенно отразил подозрение Иванны Герета.

— Мать божья! — воскликнула Иванна. — Откуда же вам все это известно?

— Свет не без добрых людей. И далеко не все те, кто кричит сейчас: «Да здравствуют Советы!» — любят их...

— Нет... Мне трудно поверить... Ромцю, скажите, вы шутите?

— Такие шутки у них называются антисоветской агитацией, — резко, голосом скрипучим и властным бросила игуменья. — Так, впрочем, ваш квартирант и написал в своем доносе.

— Разве я сказала что-нибудь особенное? Какая же это свобода!

— Чего еще вы, Иванна, можете ждать от людей, потерявших веру в бога? — мягко заговорил Роман. — У них нет благородства, все они черствые материалисты. А вы еще...

— Договаривайте!

— Вы сердце ему открыли и своих же людей выдали!

— Да как вы смеете! Каких это «своих»?

— Ну хотя бы Зенона Верхолу! — И Герета испытующе посмотрел в темные и глубокие глаза своей невесты.

— Ну, знаете! — сказала возмущенно Иванна. — Это клевета. Мое отношение к Верхولة вам давно известно. Это рядовой пустоцвет и тип «из-под темной звезды». Я удивляюсь только, для чего вы с ним дружили? Но ничего о нем я капитану не говорила. Ни одного слова. Доносчицей я никогда не была и не буду!

— Вы правду говорите, Иванна? — И Герета еще пристальнее посмотрел ей в глаза.

— Конечно, правду!

— И капитан ничего не расспрашивал вас о Верхولة?

— Решительно ничего! — отрезала Иванна. — Да он его совершенно не знает!

¹ Сказочки для детей.

— Странно.— Роман покачал головой.— И вы можете присягнуть, что говорите правду?

— Чистую правду! Христом богом клянусь! — горячо сказала Иванна.

Роман укоризненно покачал головой.

— Не поминайте имя господа бога нашего всуе, дорогая Иванна. Я вам поверю и так. А веря, предостерегаю: дело очень, очень плохо. И отцу Теодозию оно сулит большие неприятности. И Юльце за недонос, как комсомолке. И мне...

Взволнованная окончательно, Иванна растерянно и доверчиво посмотрела на жениха.

— Спасибо вам, Романи... Спасибо... Как же мне теперь поступать?

Тоном приказа Герета сказал:

— Для всех окружающих вы уехали в Киев. Искать правды. И добиваться приема в Киевский университет. Мы немедленно распустим слух об этом. Перед отъездом вы поссорились с отцом, который вас туда не пускал, как и во Львовский университет, и был категорически против вашего отъезда. Это выгораживает отца и спасает его от возможного ареста. Понятно? А вы «на ножи» пошли с отцом, поспорили! И, уехав, никому не оставили своего адреса.

— Позвольте,— сказала в недоумении Иванна,— я не...

Герета резко махнул рукой, прерывая невесту, и продолжал:

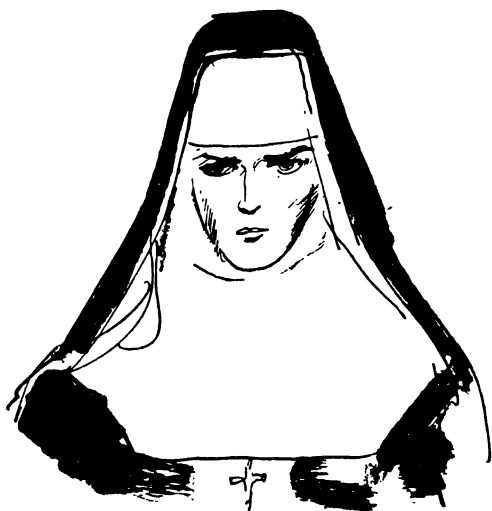
— В остальном же положитесь на мать игуменью и сестру Монику и поблагодарите их за спасительное для вас гостеприимство.

Игуменья благосклонно кивнула тяжелой головой в белом уборе.

ПО СЛЕДУ

Куда девалась веселая, гибкая, на цыганку похожая Иванна, которая еще недавно, подобно бабочке, называемой в народе «пулей», проносилась карпатскими полонинами и прибрежными лугами за горными тюльпанами и голубыми васильками!

Среди рядов коленопреклоненных монашек в закрытой монастырской церкви только очень опытный глаз мог бы обнаружить Иванну Ставничую. Длинная, до пят, сутана и



белый головной убор, покрытый черной косынкой, наглухо закрыли ее стройную фигуру и изменили ее внешность.

Вместе с другими монашками повторяла она слова молитвы:

«Мы припадаем сегодня перед твоим жертвенником с любовью и послушанием, пред твоим наместником здесь, на земле, святейшим отцом Пием, папой римским, чтобы умолять тебя и доложить тебе о всех неисчислимых обидах, нанесенных твоему святому имени, о всех беспримерных богохульствах и ослепленной ненависти к твоим святым правдам...»

Иванне казалось, что и о нанесенной ей тяжелой обиде говорится в тягучей молитве, которую читали монашки во главе со стоящей впереди игуменьей Верой. Время от времени игуменья поднимала кверху пухлую руку, как бы дирижируя.

В то же утро капитан Садаклий был вызван в кабинет к начальнику управления Самсоненко. Когда он прошел сквозь тамбур из двух соединенных дверей, издали напоминающих обычный платяной шкаф, в кабинет начальника, он сразу почувствовал: будет разнос!

Самсоненко нервно ходил по солнечному кабинету. Не

успел Садакий приблизиться к столу, как он, круто повернувшись, выкрикнул:

— Что же вы, батенька, а? Подозреваемый в шпионаже и терроре капитан Журженко, оказывается, вчера был у вас, а вы подписали ему пропуск и выпустили такую птицу на свободу? Как понимать такой гуманизм?

— Не всякий подозреваемый в шпионаже и терроре является шпионом и террористом, — спокойно ответил Садакий.

— То есть как это? — слегка опешил, услышав очень уж спокойный ответ подчиненного, Самсоненко. — А письмо, которое я вам передал?

— Товарищ начальник! А если завтра придет анонимное письмо, что вы родной сын австрийского императора Франца-Иосифа Габсбурга, я тоже должен верить такому письму? — И Садакий пристально посмотрел на Самсоненко. Он мог позволить себе такую вольность, потому что хорошо уже изучил отходчивый, хотя и очень вспыльчивый характер начальника управления.

Тот удивленно посмотрел на Садакия и слегка улыбнулся.

— Короче говоря, вы берете на себя всю политическую ответственность за доверие к Журженко?

Садакий минуту помолчал и потом сказал глухо:

— Беру, товарищ старший майор!

В это время открылась дверь «шкафа» и оттуда быстрыми шагами с бумагой в руке вышел дежурный по управлению Боровский.

— Сводка происшествий за ночь, товарищ начальник.

Самсоненко взял листок бумаги и бегло стал просматривать его. Привыкнув к перечислению грабежей и пьяных драк в этом городе, который совсем недавно стал советским, он читал торопливо. Вдруг он словно споткнулся, дважды перечел одно сообщение, сморщив лоб, почесал затылок и уже вслух прочел:

— «Восемнадцатого июня в двадцать два тридцать возле кипятильника Главного вокзала найден тяжело раненный в ногу навывлет из огнестрельного оружия не установленный образец капитан военно-инженерных войск Красной Армии Иван Тихонович Журженко. Злоумышленника задержать не удалось. Раненый находится на излечении в больнице по улице Пиаров...»

Самсоненко тоном доброго собеседника сказал:

— Вот так штука! Не свалили анонимкой, так уложили пулей? Действуйте, товарищ Садаклий. Быстро!..

...Отправив две оперативные группы — одну в университет, другую в общежитие, где по наведенным справкам проживал Верхола, — Садаклий вызвал машину и поехал в больницу на улицу Пиаров. Ему оставалось завязать пояс у халата, когда в кабинет главного врача позвонил оперативный уполномоченный Куш, посланный им в университет, и доложил, что нигде в аудиториях Верхолы нет. Через несколько минут из общежития на улице Кутузова также раздался звонок: со вчерашнего вечера студента Зенона Верхолы никто из его соседей по комнате не видел. Кровать не тронута. Все его личные вещи унесены.

ВИЛЛА «ФРАНЦУВКА»

Одна из самых живописных улиц Львова — улица 29 листопада — соединяла центр города с предместьем Кульпарков. Некогда на этой улице жили в основном офицеры привилегированных частей польского воздушного флота. В предвоенное лето на этой улице находился дом, который, как стало известно теперь, был крупнейшим центром гитлеровского шпионажа в Западной Украине.

Прежде чем подойти к этому дому, надо было миновать немало уютных домиков и вилл, укрытых серебристыми кленами, лапчатыми каштанами и плакучими ивами, обросших темно-зеленым плющом, диким виноградом и китайскими розами. Вокруг было множество цветов. Даже на трамвайных столбах посередине улицы в металлических гнездах, напоминающих журавлиные, были посажены цветы. Оттуда сверху спускались к поблескивающим рельсам выходящие стебли огненной настурции, крученых панычей, душистого горошка. Жители улицы 29 листопада в то лето часто видели на ее граните длинный и черный «суперадмирал» с фашистским флажком на радиаторе. Немецкая машина проносилась по самой благоухающей улице Львова и заезжала во двор виллы «Францувка», стоящей в глубине большого палисадника. Над воротами у въезда в виллу висел государственный флаг гитлеровской Германии с черной свастикой. Но самое удивительное заключалось

в том, что под этим флагом медленно расхаживал советский постовой милиционер. Сейчас просто даже странно вспомнить все это, но таково было действительное положение вещей в то трудное, многим непонятное, насыщенное международными противоречиями предвоенное лето. Граница наших государственных интересов с гитлеровской Германией в 1939 году проходила по Западному Бугу и Сану. Мы вынуждены были, чтобы оттянуть неизбежное в конце концов нападение вооруженного фашизма, вести мирные переговоры с отъявленными гитлеровцами. И вилла «Францувка», временно предоставленная германской комиссии по переселению немцев с Волыни и Галиции, в порядке договора с гитлеровским правительством, стала обиталищем фашистов.

В ней подолгу жили такие гитлеровцы, как Альфред Бизанц, Ганс Кох, губернатор провинции Радом из Польши, штандартенфюрер СС Отто Вехтер, уже обагривший однажды свои руки в крови австрийского премьера Дольфуса. Сюда приезжал старый немецкий разведчик и профессор Теодор Оберлендер. Его сопровождали два более молодых, но очень ретивых шпиона, родные братья Ганс и Жорж Пулуи, родственники известного всему Львову семьи врача и композитора Барвинских. Цели работы комиссии по переселению внешне выглядели невинно. Но работники органов государственной безопасности отлично знали, что переселение немцев с советских территорий использовано фашистами в своих тайных, коварных целях. В действительности же видные чиновники немецкой империи, приехавшие переселять от нас соплеменников, торопились развернуть на территории Западной Украины разветвленную сеть шпионажа.

Хорошо знал об этом и Садаклий, которому не раз приходилось парировать попытки немецких разведчиков узнать наши военные тайны и, в частности, линию военных укреплений на западной границе.

В то лето и я жил через два дома от виллы «Францувка». Всякий раз, видя машину с фашистским флажком, я испытывал такое чувство, какое испытывает человек, наступивший босой ногой на жирную, холодную жабу.

В дневнике отца Теодозия я прочел упоминание о вилле «Францувка». Оказалось, Дмитро Каблак поддерживал

тайные контакты с обитателями этого дома, чем хвастался в кругу пьяных собутыльников, когда пришли немцы. В моей памяти сразу возникло то жаркое лето, толпы людей у решетчатой ограды виллы, бумажки о розыске родственников, приколотые шипами японской акации к стволам тенистых каштанов. Комиссия переселяла за Сан не только немцев. С ее помощью могли вернуться к своим семьям застигнутые войной в Западной Украине жители центральных районов Польши и даже, как это ни кажется теперь чудовищно, лица еврейской национальности. Но, получая документы с фашистскими печатями, они не знали тогда, что едут на верную смерть, за колючую проволоку лодзинского гетто, в газовые камеры Освенцима и Тремблинки, в крематории Дахау.

О вилле «Францувка» рассказал мне и Голуб. Голубу по роду его работы частенько приходилось бывать на улице 29 листопада.

Как-то он задержался у дерева с объявлениями, прислушиваясь к оживленному гудению голосов, а потом тронул за локоть какого-то почтенного, напоминающего раввина или цадика из синагоги, благообразного мужчину в длинномполном сюртуке.

— А тебе, пан, тоже до Гитлера захотелось? — спросил удивленно и миролюбиво Голуб.

— Ну, захотелось, а что? — сказал, озираясь, старик в лапсердаке.

— Да хибя же тебе, старому, здесь, под Советами, плохо? Веру твою или нацию кто забижает?.. Сидел бы тут и не рыпался.

— Пане, Советы торговать не дают, а на той стороне частная торговля, можно лавочку свою открыть...

— Лавочку? — Голуб сперва опешил. Не сразу дошел до него страшный в своей обнаженности смысл слов ослепленного старика. — Эх ты, дурная голова! Да вас всех Гитлер там, за Саном, сперва оберет, затем обстрижет, а потом на мыло пустит. Вот тебе и весь твой гандель!..

— Иди, пан, гуляй своей дорогой, — задиристо цыкнул на Голуба какой-то франт помоложе, в щеголеватых сапогах-«англиках» с высокими задниками и брюках-«бричесах» с кантом, заползающим на колени, явный сионист. — Ты здесь агитацию против Германии не разводи, а то милиционеру сдадим...

— Милиционеру? — взъерился Голуб, и рука его, тяжелая, мозолистая, крепко сжала рукоятку разводного ключа. — Это мой милиционер, понимаешь? За то, чтобы он ходил по Львову, я в тюрьмах панских гнил, в Луцке меня катовали. А вот поглядим, как вас там гитлеровские полицаи примут... Тьфу! Вот олухи дурные! — И Голуб, в сердцах плюнув, чуть не наступил на ногу идущему навстречу Каблаку.

«ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»

Они разошлись. Голуб сделал еще несколько шагов, когда ему повстречался маленький подмастерье из слесарной мастерской треста, по кличке «Вуньо». Замурзанный, в синей спецовке, он бежал обедать к себе домой, на Кульпарков, и на ходу, так, словно это была обычная новость, крикнул:

— Дядько Голуб! Чулы? Инженера нашего подстрелили!

— Постой, — задержал его Голуб, — какого инженера?

— Да Журженко! Ивана Тихоновича! Того, что в войску служил. На вокзале его ночью раненного нашли...

— А где он сейчас? — бледнея, спросил Голуб, вспоминая последнюю встречу с капитаном и свой совет ему посетить серый дом по улице Дзержинского.

Узнав, куда поместили капитана, Голуб поспешил в больницу.

...Каблак чувствовал, что у него земля начинает гореть под ногами. Он выглядел сегодня совсем иначе, чем за несколько дней до этого, в университете. Плохонький, поношенный пиджак с заплатами на локтях покрывал сорочку-«вышиванку». Сквозь клинышек расстегнутого воротника на его волосатой груди поблескивал серебряный крестик. На ногах у Каблака были уже стоптанные сапоги, клетчатые модные «шумпы», брюки-гольф он сменил на будничные коломаянковые штаны. Прикидываясь добродушным, наивным растяпой, Каблак подошел к постовому милиционеру и почтительно снял кепку.

— Пане товарищу! У меня сестра родная залишилась на той стороне. У Кросно. Мучается, бедолага, с тремя

детьми. Украинка. Я бы хотел сюда ее спровадить. Кажуть люди, есть тут какая-то комиссия.

— Отуточки комиссия! — показал милиционер на виллу «Францувка».

— А те паны дозволят моей Стефце перебраться на советскую сторону?

— Кто их знает! Запытайте.

— Кого? Немцев? — притворно ужаснулся Каблак.

— Ну да... Наведут справки...

— Воны ж фашисты! Разве можно советскому человеку размовлять с ними?

Милиционер покровительственно пояснил:

— По такому делу разрешается. Даже очень нужно. Чем больше мы своих людей, украинцев, перетянем оттуда, от них, на советскую сторону, тем лучше. У нас же договор с немцами. Давай, хлопче, иди! — И он открыл калитку.

Каблак осторожно, как по ковру, прошел по заросшему травой двору и поднялся в вестибюль виллы.

Дежурный фельдфебель в форме вермахта встал ему навстречу.

Оглянувшись, Каблак быстро сказал по-немецки:

— Я по срочному делу к господину Дитцу! Доложите!

Едва он переступил порог кабинета с большим портретом Адольфа Гитлера на стене, рассерженный донельзя гитлеровец в элегантном сером костюме бросился к нему навстречу с кулаками.

— Идиот! Я же раз и навсегда запретил вам появляться здесь. Только на конспиративной квартире. Ферботен! Понимаете?

— Господин Дитц!

— Ваше появление здесь равносильно провалу! — С этими словами разгневанный Дитц посмотрел в окно на шагающего за решеткой милиционера.

— Я уже почти провален, пане шеф, — сказал смиренно Каблак. — И потому прошу выдать мне пропуск на легальный выезд из Кракова... Там формируется батальон Степана Бандеры «Нахтигаль». Лучше я буду в том батальоне, чем в советской тюрьме.

— А если я не выдам?

— Воля ваша! Однако теперь, когда каждую минуту меня могут схватить, я не могу держать при себе эти ценные документы!

С этими словами Каблак достал из-за пазухи перевязанный носовым платком пакет и положил его на дубовый письменный стол. Несколько смягчась, Дитц спросил:

— Вас ист дас?

— То, что пане шеф поручили мне добыть! — не без бахвальства сказал Каблак, ухмыляясь. — Это новые советские укрепления на участке между Сокалем и Владимир-Волынском. — Каблак намеренно затянул паузу. — Кроки их составлены с большим риском. Вся агентура по селам на линии Западного Буга набрасывала и уточняла эти данные. Двух наших боевиков «особисты» на месте пришили...

Дитц брезгливо развернул платочек и стал не без удовольствия рассматривать кроки укреплений.

— Что здесь? — показал он на топографический знак.

— По-моему, противотанковый ров. Он начинается у Корытницы...

Дитц спрятал пакет в сейф и сказал:

— Ну хорошо, герр Каблак. Я бы, конечно, не советовал вам уезжать отсюда именно сейчас, но если вы чувствуете приближение опасности... Да, а кто же в таком случае будет освещать район Нижних Перетоков?

— У меня был гость оттуда. Лицо духовное и вне всяких подозрений. А в помощь ему я отправил Верхолу. Он сам оттуда. Нелегал и знает, как связаться с вами. В случае моего отъезда вы будете получать от них информацию на обусловленной явке.

— Зеер гут! Слушайте внимательно, Каблак. Передайте краевому руководству украинских националистов: поддерживать прямую связь с нами можно не только через меня. По Западной Украине, кроме моих референтов по переселению, разъезжают сейчас наши чиновники, которые руководят раскопками и отправкой в империю трупов немецких солдат и офицеров, павших в недавних боях с поляками. Сообщите, что это наши люди. Любая информация, переданная им, будет немедленно переслана центру абвера.

— Понимаю, господин Дитц! — послушно сказал Каблак.

— Новые доты вооружаются?

— Большинство укреплений от Полесских лесов до Перемышля включительно уже в основном готово к приему орудий тяжелых калибров и другого вооружения. Наша агентура из Тернопольщины сообщает, что Советы начали демонтировать старую линию укреплений за Збручем и Днестром и скоро перевезут это вооружение сюда. Вооружение укрепленного района в Каменец-Подольске уже погружается на платформы.

— Мешать! Всеми силами! Любыми способами, включая диверсии! — сказал Дитц и стукнул кулаком по дубовому столу. — Дайте такую команду агентуре.

— К сожалению, одними нашими силами...

— Какие еще вам силы нужны?

Желая доставить приятное Дитцу, Каблак по-военному щелкнул сапогами и отчеканил:

— Доблестные вооруженные силы Третьей империи, пане шеф!

— Ну, вы... Не вашего ума это дело... А куда вы подевали эту девицу, из-за которой у вас в университете, как это говорят русские, сыр и брот зажигался? Когда я был на именинах у доктора Панчишина, митрат Кадочный рассказал мне ваш план.

— Мы запрятали ее в надежном месте...

— С сердобольным капитаном, надеюсь, покончено?

— К сожалению... — Каблак замялся, — он только ранен. Верховла промахнулся...

— Что-о-о? — выкрикнул Дитц. — Как же вы это прошляпили?

В БОЛЬНИЦЕ

Пуля пробила кость правой ноги капитана Журженко. Кроме того, падая, он сильно ударился о медный кран. Фиолетовый синяк выступил у него под глазом. Осунувшийся, небритый, совсем другой человек смотрел на Садаклия. На тумбочке у кровати стояли кувшин клюквенного морса, букет цветов, лежали книги.

— То, что Каблак с Верховлой улизнули, лишний раз подтверждает наши предположения. С ними вопрос ясен, — рассказывал Садаклий. — То гуси меченые. Притом с боль-

шими хвостами. Такие визитные карточки побросали, ой-ой-ой! Но не хватает другого звена...

— Их сообщников?

Садаклий встал, посмотрел в коридор, не подслушивает ли кто их, и, вернувшись, сказал тихо:

— Иванны Ставничей.

— Так за чем дело стало? — удивился капитан. — Вызовите ее сюда или пошлите за ней машину в Тули-говы.

— Иванна исчезла. Бесследно. Понимаете? Кто-то вызвал ее сюда ложной телеграммой, якобы подписанной Юлей Цимбалистой. Юля этой телеграммы не отправляла... А вот и она, легка на помине!

— Скандал, товарищ капитан! — выкрикнула Юлька, вбегая в палату. — Еще гости пришли. Нагорит мне за вас от главного врача!..

— Послушайте, Юля, — остановил медсестру Садаклий, — вы твердо убеждены, что если бы Иванна собиралась уехать в Киев, то она забежала бы к вам?

— А как же! — оправляя пояс белого халата, сказала Цимбалистая.

— В университет она не могла пойти? — спросил Журженко.

— Какой там университет ночью? — возразила Юлька. — Она приехала в тот самый вечер, когда в вас стреляли!

Из-за спины Цимбалистой, делая знаки Журженко, слышно, на цыпочках, вынырнул Голуб с букетом белых лилий и пакетом с провизией. Из него вызывающе выглядывало горлышко винной бутылки.

Цимбалистая оглянулась и сказала:

— А кто вам дал право, дядько, без спросу заходить? Я же вам сказала: почайте там, в приемном покое! И как вы прошли сюда? Дверь же закрыта!

— Який там спрос! Ты меня в двери не пустишь, так я водопроводной трубой пролезу. Я ж старая крыса из львовских каналов!

Журженко, заметив, что Садаклий пристально разглядывает Голуба, сказал:

— Знакомьтесь, товарищи! То мой сослуживец, бригадир Голуб, а это...

Как бы предупреждая пояснение капитана, Садаклий

поднялся и, протянув руку Голубу, сказал с легкой добродушной усмешечкой:

— Вообще-то мы виделись, но, если старых знакомых не признают, можно познакомиться и вторично.

Голуб заметно опешил:

— Бачились? Де саме?

— Садитесь, Панас Степанович, — предложил Журженко. — А вы, Юльця, не сердитесь. То свой человек!

— Какая же это холера бисова коцнула вас, инженер? — спросил Голуб. — Добре, що не в голову.

— А я предупреждала товарища, — вмешалась Юлька, — что с националистами связываться опасно. У них длинные руки. Так инженер тогда смеялся.

Переводя взгляд на Садаклия, Голуб спросил:

— Где же мы с вами могли видаться, товарищ? Ума не приложу. Лицо будто бы знакомое... Вы по какой отрасли работаете?

— Да как бы вам объяснить? — Садаклий незаметно подмигнул капитану. — В украинском тресте «Саночистка»! Знаете, есть такая институция?

— В «Саночистке»? — заволновался Голуб. — Так это, считай, одна парafia с нами! А я в Львовском водоканалтресте, там, где и инженер до армии работал. Весь Львов под землей излазили. А мы с вами, мабуть, у тресте и зустричались?

— Возможно, возможно, — спокойно согласился Садаклий. — А еще был у нас с вами, товарищ Голуб, один общий знакомый, некий пан Заремба. Не забыли вы его?

— Какой Заремба? — насторожился Голуб. — Неужели луцкий?

— Он самый. Тот, что любил в тюрьме на допросах заключенным в нос скипидар лить и почки отбивать.

— Ой, лышенько! — воскликнул Голуб. — Так вы ж тоже привлекались по Луцкому процессу. В тысяча девятьсот тридцать четвертом году. Теперь я вас вспомнил. Только фамилию забыл.

— А фамилия у меня была не своя. Ворожбит была моя фамилия. Как ни выбивали из меня те каты Зарембины мою настоящую фамилию, так и не выбили.

Голуб вскочил от неожиданности.

— Ворожбит? Так, значит, вы тот самый товарищ Ворожбит, от которого нет-нет да мы инструкции получали,

как держаться на следствии, что признавать, а что нет? Як же я, старый пентюх, не признал вас одразу? Правда, в луцкой тюрьме у вас еще чуприна пышная была.

— Была да сплыла! — сказал, усмехнувшись, Садаклий.

— Нас в одно время допрашивали, — обращаясь к Журженко и Юле, объяснил Голуб. — Палачей набежало в кабинет Зарембы, когда Ворожбита и меня мордовали! Целая стая.

— Значит, вы старые побратимы? — спросил Журженко, наблюдая за встречей двух подпольщиков.

— Еще какие! — гордо сказал Голуб. — Кто перетерпел Луцк, тому уже никакая сатана в жизни не страшна...

— А вы знаете, Голуб, где сейчас Заремба? — спросил Садаклий.

— До немцев, наверное, сбежал?

— И у немцев ему опасно. За океан перебрался. Открыл ресторан в Буэнос-Айресе и процветает на аргентинских харчах.

— Кто же его там нащупал? Смотри ты, живучий!

— Нашупали... — усмехнулся Садаклий.

— Саям алейкум! — послышался голос нового посетителя.

В палату ворвался Зубарь в белоснежном накрахмаленном халате, из кармашка которого выглядывал докторский никелированный молоточек.

— Еще один! — в ужасе взмолилась Юля. — А вы-то как сюда попали?

— Цербер ваш, неумолимый сторож, красный семафор поднял. Не пускает, хоть плачь. Ну, я выяснил обстановочку, разведаль поле боя и перемахнул через забор! По пути движения кабинетик какой-то попался. Пустенький кабинетик. Вижу, халат на вешалке висит. Приятный. Накрахмаленный. Ну, я его и одолжил на время, чтобы капитана нашего повидать.

ГРОМЫ КАРЫ БОЖЬЕЙ

Протяжный и тревожный лай собаки разбудил Ставничего перед рассветом. Отодвинув засов дома, он вышел на крыльцо.

К нему сразу бросилась, виляя пушистым хвостом, большая черная карпатская овчарка с белой подпалиной на боку.

— Ты чего, Жук, волнуешься и спать не даешь? По Иванне небось тоскуешь? Ничего, скоро приедет она из Львова...

Но добродушный голос священника, каким он говорил с Жуком, не успокоил собаку. Повизгивая, словно чуя недоброе, она лизала ноги Теодозия, скулила, то и дело припадая к земле.

Начинало светать. На фоне бледнеющего неба хорошо выделялся силуэт деревянной церкви.

Ставничий насторожился. Он услышал резкие гортанные выкрики на сопредельном берегу, среди них ясно различимый выкрик «файер», какие-то звонки, и в ту же минуту лицо его озарил отсвет оружейного залпа.

— Свят, свят, свят! — прошептал священник, слыша, как завывли, зашелестели снаряды над его головой. И подумал: «Неужто война? Как хорошо, что Иванна во Львове. Там опасности меньше, чем на границе».

Послышался гул бомбовозов, летящих на Восток с немецкой стороны. Близко разорвался снаряд, и Ставничий закрыл лицо руками, в ужасе перекрестился.

Вспыхнувший пожар осветил хатку дьяка Богдана. Там, в ожидании очередной явки с Верхолой, заночевал Герета. Грохот оружейной канонады разбудил его сразу, и он, полуодетый, выбежал во двор. Пушечные залпы и вспышки близких разрывов освещали лицо Гереты. С жадностью и надеждой глядел он на запад, откуда ожесточенно била по советской земле немецкая артиллерия. Не скрывая радости, он осенял крестным знамением свой высокий лоб, покрывшийся от волнения испариной.

— Началось!.. Слава тебе, Иисусе! С нами бог! — шептал Герета узкими пересохшими губами.

На правой окраине Тулиголов, почти примыкающей к Нижним Перетокам, расползлось по горизонту зарево пожара. Сообразив, что именно и где горит, Герета натянул на нижнее белье черную реверенду и помчался к своему будущему тестю.

Как зловещая черная птица, перескакивая через каналы, стуча подметками по настилам кладочек и мостиков,

приминая бурьяны, мчался Герета в Тулиголовы, просто-волосый, длинный. И только обнажающиеся временами из-под сутаны высокие сапоги, надетые прямо на кальсоны, придавали его облику земные, человеческие черты.

Поодаль вытаскивали из хат сонных детей крестьяне. Они бежали в подвалы, хрустя по выбитому взрывами оконному стеклу. Пробегали, сжимая винтовки и автоматы, пограничники, занимая места в запасных окопах и блокгаузах.

Старший лейтенант Зубарь, только накануне приехавший из Львова, чуть не сшиб богослова.

Обернувшись, он крикнул бегущим за ним бойцам:

— Мы занимаем огневую точку у моста!..

Когда Роман вбежал во двор церкви, колокольня и соседняя с ней деревянная церковь уже пылали вовсю. В стороне, держа под мышкой Библию и парафиальные книги, следил за пожаром окруженный толпой полуодетых прихожан Ставничий. Герета остановился подле старика и взял его под руку. Оглушительный взрыв снаряда заставил их пригнуться. Ослепительная вспышка пламени возникла там, где еще секунду назад остро вырисовывался на фоне кровавого неба угол церкви. Обрушилась крыша ее, и стайка перепуганных голубей вырвалась из-под падающей кровли.

Еще разрыв!

Понимая, что гитлеровцы перенесли беглый огонь на территорию приходства, хорошо освещенную пожаром, прихожане стали разбегаться в разные стороны. Кое-кто из них уносил выхваченные из пламени иконы в золоченых киотах.

Герета потащил священника в подвал. Из квадратного выхода крепкого кирпичного подвала они увидели, как рухнул в огонь, рассыпая искры, купол церкви, как снаряды добивали дом Ставничего: должно быть, немецкие артиллеристы думали, что в прочном этом доме разместилась пограничная застава.

— Не надо, отец Теодозий, — пытался успокоить рыдавшего Ставничего Роман. — На пепелище сгоревшего дома не льют слез...

— Да, но с этим приходством столько связано. Боже... Боже... В этом доме родилась Иванна, тут она выросла...

— Когда горят леса, не время заботиться о розах, — глядя на запад, заметил Герета. — Не печальтесь, отец Теодозий. Такие пожары к добру. Это гром кары божьей!

Обращая к Роману заплаканное небритое лицо, Ставничий горячо сказал:

— Как вам не стыдно, сын мой? Я пережил уже не одну войну и знаю, что она сулит народу. Это начало нового, страшного горя...

— Но это особая война! Очистительная! — лихорадочно прошептал Роман. — Когда покарают всех отступников, на пепелищах вырастут новые храмы Христовы, лучше прежних...

Вывавшись из сарая, по освещенному пламенем двору парадии заметались, гогоча, перепуганные, ошалелые гуси. Через каменный забор приходства перемахнуло несколько гитлеровцев.

Вот они, первые завоеватели!

На рогатых тевтонских касках у них в то первое утро войны были колосья пшеницы, пучки васильков. Отблески огня отражались на металлических поясных пряжках с надписями «Gott mit uns!» — «С нами бог!». В волосатых руках с засученными рукавами они сжимали черные автоматы и воровато оглядывались вокруг. Ставничий и Герета, присев на глинистый пол подвала, видели множество тяжелых запыленных сапог гитлеровцев...

«ДАС ИСТ ЛЕМБЕРГ»

Старинный Львов в пламени пожаров, в грохоте орудейной канонады совсем по-новому открылся утром 30 июня 1941 года штурмбанфюреру СС Альфреду Дитцу. Дитц поднял руку, шофер затормозил мотоцикл, и колонна, во главе которой ехал штурмбанфюрер, остановилась. Дитц выскочил на удивительно ровную гранитную брусчатку Жовковского шоссе и сказал сидящему позади него в коляске мотоцикла гестаповцу Эриху Ангелю:

— Дас ист Лемберг! Хайль Гитлер!

Ангель никогда ранее не бывал во Львове. Он тоже вскочил, коляска мотоцикла сразу закачалась, и вскинул параллельно линии шоссе длинную руку с бриллиантовым перстнем. С любопытством смотрел гестаповец на грядущему

Расточья, по которой раскинулся древний город. Отсюда, от водораздела Европы, ручейки и реки текли в разные стороны. Одни устремлялись от Львова к Черному морю, другие, стекая к Висле, попадали в холодную Балтику. Энгель еще не знал, что ждало его в этом большом городе.

Накануне нападения на Советский Союз Энгеля перевели в часть фельдгестапо, которая следовала сейчас с частями вторжения, а его персонально прикрепили к бывалому военному разведчику Дитцу, чтобы тот, пока не установится во Львове гражданская немецкая администрация, научил его, Энгеля, ориентироваться в древнем славянском городе. В том, что Дитц сумеет это сделать, более молодой Энгель не сомневался. Ведь всего за несколько дней до вторжения Дитц проследовал вместе со всем штатом комиссии по переселению из Львова через советскую зону Перемышля в Засанье, остановился в гостинице «Виктория» под Винной горой на немецкой стороне и, отправив с денщиком в чистку свой серый костюм, слишком пропахший, как ему казалось, запахом «Советов», переоблачился.

Одетый в мундир штурмбанфюрера СС с двумя Железными крестами на груди и «орденом крови», полученным за сидение в тюрьме до прихода Гитлера к власти, Дитц размахивал стеком и то и дело показывал командиру дивизии вторжения генералу Штрейцеру прямо на местности расположение пограничных застав на советском берегу. Штрейцер внимательно и, несмотря на разницу в чинах, почтительно слушал Дитца. С эсэсовцем, награжденным «орденом крови», приходилось считаться: он имел доступ к самому Гитлеру. Теперь Дитц возвращался хозяином Львова.

Полюбовавшись панорамой города, он снова залез в коляску мотоцикла. Она накренилась под его тучным телом, затянутым в эсэсовский мундир. Махнув стеком на Восток, штурмбанфюрер скомандовал:

— Вайтер! Вперед!..

Водитель дал газ, и мотоцикл, оставляя позади клубы бензинового перегара, помчался во главе колонны немецких военных разведчиков и особой карательной группы абвера к холмам Львова.

Город, застигнутый врасплох предательским нападением, готовился к отпору.

Во дворе большого дома на Курковой улице, недавно

оставленного советской воинской частью, переодетый в штатскую одежду Садаклий, бригадир Голуб и приданная им группа будущих партизан торопливо подтаскивали к открытому люку городской канализации оцинкованные ящики с патронами, длинные, похожие на гробы деревянные ящики с ручными гранатами и винтовками. Руки людей, будущих подпольщиков, ненавидящих фашистов, осторожно принимали ценную кладь.

Садаклий охотно согласился с предложением Голуба запрятать в разветвленной городской канализации Львова многое из того, что не могли захватить с собою уходящие на Восток войска.

Под Львовом, закованная в бетон, протекала подводная река Полтва.

Она и поныне пересекает весь город и вырывается из железобетонного канала на другой стороне Львова в северных кварталах предместья Замарстинов. А от реки Полтвы во все стороны расходятся более мелкие каналы — коллектора, по которым человек сведущий, не выходя на поверхность, может при желании пробраться в любой район города.

Садаклий, вытирая пот с лица, с удовольствием отметил, что исчез под землей последний ящик с патронами.

— Як то кажуть: боже поможи, а ты, небоже, не ле...

Голуб не успел закончить шутливой фразы, когда ворота затряслись от тяжелых и резких ударов.

Грицько Щирба, который некогда поздравлял в Тулиголовах Иванну с принятием ее в университет, подбежал к Голубу:

— То уже они, дядько Панасе. Вяжить мене...

Садаклий и Голуб быстро перевязали Щирбу предназначенной для этой цели веревкой и повалили его на землю. Когда крышка люка захлопнулась за последним, исчезнувшим под землей подпольщиком, Грицько подполз к ней, прикрыв люк своим телом.

Отряд украинской полиции во главе с сотником Дмитрием Кабляком всюду штурмовал тяжелые ворота дома на Курковой. Кабляк был уже в полной униформе — в черном мундире, рогатой шапке-«мазепинке», напоминающей те шапки, которые носили украинские националисты, служившие в австрийской армии в первую мировую войну. Золоченый трезуб — герб националистов — виднелся на

черном сукне «мазепинки». Каблака, вооруженного в Ярославе немецким автоматом, как и других диверсантов, немцы забросили на парашютах с самолета. Это произошло над Сиховским лесом еще в ночь на 21 июня.

— Вот зараза! Не открываются! — выругался Каблак и в остервенении дал по воротам очередь из своего автомата. Одна из пуль, пробив ворота, скользнула по щеке лежащего во дворе Щирбы и провела бороздку, которая стала постепенно наполняться кровью.

— Пане сотнику, так мы проволыним тут до страшного суда! — крикнул Каблаку мордастый детина с узкими, заплывшими глазками. — Давайте я с горы заберусь во двор и открою?

Обогнув двор со стороны соседнего парка, полицейский Сухоребрый проник на территорию бывшей воинской части через пролом в заборе. Изнутри ему ничего не стоило отодвинуть запор. Ворвавшись во двор, Каблак заметил расprostертого на крышке люка Щирбу.

— Кто тебя повязал, хлопче? — спросил он, остановившись над лежащим.

— «Кто, кто»! — раздраженно ответил Щирба, сясь сам освободиться от веревок. — Будто сами не знаете кто? Большевики повязали!.. Да развяжите скорее, до холеры ясной, хоть кровь сотру.

Его развязали, и он прижал платок к пораненной щеке. Тяжело дыша, Щирба посмотрел на Каблака. Никто сейчас не смог бы заподозрить в этом парне сообщника тех, кто несколько минут назад скрылся под землей.

— Пойдем с нами, хлопче, раз такое дело, — милостиво сказал Каблак. — Ты пострадал от них и теперь будешь биться за неньку-Украину, как рыцарь Перебийнос...

В это время Голуб уже действовал во дворе гастронома на углу улиц Килинского и бывшей Легионов. Снаружи магазин штурмовался всяким сбродом, или, как его здесь звали, «шумовиной», Львова. Проникая к прилавкам через разбитые стеклянные витрины, отребье города наполняло мешки окороками, пачками крокета, банками с вареньем и кругами колбасы салами. Отталкивая друг друга, круша и давя своими сапожниками прилавки, потерявшие облик человеческий людишки торопились набить свои тоболы до того, как сюда ворвутся немецкие мародеры.

Грабителям было невдомек, что в глубине двора, за



закрытой изнутри на тяжелый висячий замок магазинной дверью в подсобных складах хранятся еще в большем количестве такие же продукты. Но это хорошо знал открывший ломом подсобку Голуб. Подбежав к первому ящику с консервами, он прочел:

— Вот халепа — «Крабы»! Уж лучше бы бычки в томате!

— Ничего, — подхватив ящик, успокоил старика Садаклий. — «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы...»

— А тут — прованское масло! — крикнул Садаклию Голуб. — Брать прованское масло?

— Обязательно! Все берите! Решительно все! — ответил Садаклий, опуская ящик с крабами в пасть люка.

Он вернулся в склад и, утирая пот с лица, сказал:

— Где мы только все это разместим?

— Не журиться, куме, — успокоил Голуб. — Старый щур каналовый Голуб знает там такие закутки, куда еще со времен Францишка-Юзефа контролеры не заходили... Подсобите!..

И новый ящик со шпротами, законсервированными в Усть-Луге, под Ленинградом, опустился в подземное чрево.

Представьте себе картину: в город вошли немцы — Садаклий и Голуб в этом убедились воочию. Одна стена подсобки отделяет от них подпольщиков.

Небольшая группа спокойно убирает продовольственные запасы. «У нас дело продвигается, а что с капитаном Журженко? Успел ли вывести его из госпиталя Зубарь?» — беспокоился Садаклий.

А в это время, спасаясь от преследования, капитан в больничном одеянии и лейтенант выскочили на Кляшторную улицу. Они надеялись выбраться этой улицей ко взгорьям Княжьей горы, называемой иначе Высоким замком, и по его густо заросшим деревьями и кустарником холмам пробраться на Знесенье, а там уже полями да перелесками двинуться на Восток.

Таков был их план. Однако у Кляшторной, или Монастырской, улицы в то военное лето была одна особенность: на всем своем протяжении окаймленная с двух сторон высокими и глухими монастырскими стенами из кирпича древней кладки, она не имела ни одного входа, ни одной подворотни и напоминала мышеловку.

Вот этого-то и не знали ни Журженко, ни поддерживающий его Зубарь. Они уже чувствовали себя в безопасности, когда вдруг на склонах Высокого замка послышались свистки полицаев. Наши друзья метнулись было обратно, к Губернаторским валам, чтобы пробраться на Подзамче, как вдруг увидели черные рогатые «мазепки» Каблака и его подчиненных.

ПОПАЛИСЬ

Возможно, Каблак и не узнал бы в обросшем, припадающем на одну ногу человеке в полосатой больничной пижаме Журженко, капитана Красной Армии, но старший лейтенант Зубарь носил знаки различия и был вооружен автоматом «ППШ», — не узнать в нем советского воина было нельзя.

— Все, Иван Тихонович, — прошептал Зубарь, видя, как приближаются к ним ускоренным шагом полицаи. И, оглянувшись, скомандовал: — А ну, за стену! Попробуйте вскочить. Я подсажу.

— А ты? — впервые переходя на «ты», шепнул Журженко.

— Отобьюсь. Давайте!

Из последних сил Журженко подпрыгнул на здоровой ноге, и, когда рука его схватила черепичную поверхность стены, Зубарь, изловчившись, подтолкнул слабеющее тело капитана вверх. Журженко перевалился через стену и грузно, плашмя упал в кусты крыжовника.

Полицаи были уже совсем близко. Зубарь схватил было автомат, но было уже поздно: Каблак навалился на старшего лейтенанта всем своим телом.

— Попался, вражий сыну! — хрипел Каблак, впиваясь в горло Зубаря своими волосатыми пальцами, а другие полицаи уже скручивали его руки и связывали их поясами. — Заспиваешь теперь у нас «Если завтра война...».

...Как и обычно под утро, 30 июня монахини ордена вассилианок вместе с Ивановой стояли коленопреклоненные на холодном полу внутренней церкви. Только немногие из них были посвящены в тайны особых приготовлений, затеянных игуменьей Верой.

Обращаясь к святой Терезе, монахини читали молитву:

— «Любвеобильная и сострадательная святая, приди на помощь нашим братьям, страждущим под гнетом долгого и жестокого противохристианского гонения. Умоли бога дать им стойкость в вере и преуспейнии в любви к богу и ближнему и в уповании на пресвятую богородицу. Ущедри их достойными священниками, кои удовлетворяли бы правосудию Божию за святотатства против святой евхаристии и за богохульства...»

Игуменья почти машинально, не вдумываясь в смысл произносимых слов, повторяла — в который раз! — эту направленную против советского строя молитву, а в мозгу ее пульсировала только одна мысль: «Когда же? Когда же?» Она осеяла себя крестным знамением, когда с улицы вбежала раскрасневшаяся сестра Моника и, припав на колени рядом с игуменьей, шепнула:

— Всё! На площади наши!

Мать Вера встала, отряхнула подол сутаны и властным, похожим на голос полководца, отдающего команду, голосом произнесла:

— Дочери мои! Царство антихриста кончилось. Все во двор! Встречать! Домолимся позже! Иванна, принеси из дальней сторожки в саду хлеб, и соль, и рушник.

Возвращаясь из сторожки по тропинке, вьющейся между кустами крыжовника, с подносом, застланным вышитым полотенцем, на котором возвышался испеченный еще накануне каравай хлеба и соль в солонке из червленого серебра, Иванна услышала стон за кустами.

Осторожно раздвинув куст, она увидела лежащего на траве человека в полосатой пижаме. Из ноги его сочилась кровь. Лица лежащего Иванна не успела рассмотреть — раненый уткнулся лицом в густую траву.

Подавая дрожащими руками игуменье поднос с хлебом, Иванна шепнула:

— В саду у нас раненый стонет. Может, помощь ему нужна?

— После! — бросила игуменья и, услышав гул мотоциклов, подала знак.

Ранее забежавшая на колокольню сестра Моника натянула веревки, и, повинуясь ее руке, заиграли колокола и колокольчики.

Под частый и мелодичный звон колоколов первые немецкие мотоциклы и въехали в монастырский двор.

Снимая на ходу замшевые перчатки, сопровождаемый младшими офицерами и Эрихом Ангелем штурмбанфюрер СС Альфред Дитц подошел к игуменье Слободян и, отсалютовав, поцеловал ее дородную руку.

— Боже мой... пан советник, — умиленно протянула мать Вера. — Пανε Альфред! Боже! Счастье какое! — И, подавая ему поднос с хлебом и солью, сказала интимно: — Бывая у вас в комиссии, я и предположить не могла, что вам так идет военная форма. Но зачем только по вашему совету мы отправили на запад треть моих монахинь?

— Чтобы обмануть большевиков, мы отправляли туда не только живых, но даже мертвых, — сказал Дитц, передавая поднос с хлебом и солью ординарцу. — Сколько лет, сколько зим! Так, кажется, говорит ваша пословица? Рад вас видеть в полном здравии, мать Вера...

— Вы рады? — умилилась игуменья. — А вот мы-то как рады! Боже!

В глазах ее заблестели слезы.

Изумленными глазами, в которых одновременно отражалось любопытство и удивление, наблюдала эту встречу Иванна. Должно быть, давно уже были знакомы друг с другом строгая настоятельница монастыря и элегантный, с проседью на висках немецкий штурмбанфюрер СС Альфред Дитц с эмблемой смерти на тугой и высокой фуражке.

— Насколько мне память не изменяет, мать игуменья, правое крыло вашего монастыря пусто, — сказал Дитц, оглядываясь. — Я хотел бы разместить здесь свою зондеркоманду. В других зданиях еще можно натолкнуться на большевистские сюрпризы, а за вашей стеной мы будем чувствовать себя как в крепости. Вы не возражаете?

— Боже! Какие могут быть разговоры! Конечно, располагайтесь. Мои послушницы немедленно вымоют там полы! — согласилась игуменья. — Пресвятая дева Мария услышала наши молитвы...

Беседа была прервана появлением в распахнутых воротах монастыря группы полицаяв во главе с Кабляком. Увидев немцев, окруживших игуменью, Каблак сперва хотел было попятиться, но, узнав в гитлеровском офицере своего недавнего шефа, отработовал:



— Пане штурмбанфюрер! Извините. Никто из русских не выбегал из монастыря?

Он хотел было, подчеркивая их старые отношения, назвать бывшего советника комиссии его фамилией, но побоялся допустить оплошность: как бы ему снова не влетело за нарушение правил конспирации.

Дитц тоже узнал Каблака, но, поморщившись, перевел свой вопросительный взгляд на игуменью.

Оглянувшись, игуменья сказала вполголоса:

— Там, в саду, посторонний какой-то...

Иванна услышала эти слова, и ей стало страшно. Но еще больший страх испытала она, когда через несколько минут увидела, как полицаи волокут под руки раненого

человека в полосатой пижаме. С лица его, покрытого ссадинами, лилась кровь. Должно быть, полицаи избили его там, в саду. Девушка без труда узнала своего недавнего квартиранта, капитана Журженко. «Что я натворила! Как жестоко отомстила человеку, который хотя и причинил мне зло, но сейчас ранен и совершенно беззащитен!»

Меж тем Каблак, победно салютуя, доложил Дитцу:

— Пане штурмбанфюрер! Поймали переодетого большевистского капитана. Дозвольте вести дальше?

Дитц милостиво кивнул головой.

— Иди, зараза большевистская! — крикнул Каблак и, желая выслужиться перед начальством, изо всей силы ударил Журженко прикладом автомата в спину.

Иванна закрыла руками глаза, полные слез. «Боже, боже, что я сделала! — шептала она про себя. — Выдала беззащитного человека, а теперь они его будут мордовать как хотят!»

— Пусть пани игуменья спит теперь спокойно в своем монастыре, — сказал, улыбаясь, Дитц. — Мы быстро выловим всех этих переодетых красных. Герр Энгель поможет мне в этом! — И он покровительственно похлопал по плечу своего долговязого помощника, одетого в мундир полевой тайной службы безопасности, или, попросту, фельдгестапо.

ВСТРЕЧА НА ВОКЗАЛЕ

В сутане, облегающей ее стройную фигуру, Иванна в состоянии полного изнеможения добралась на трамвайчике до привокзальной площади.

Главный вокзал Львова заполняли пассажиры, выплеснутые на перроны недавними бомбардировками и уличными боями. Здесь были семьи советских военнослужащих и советских работников, не успевшие эвакуироваться матери с детьми. Было здесь немало людей с границы.

С предгорий Карпат, с берегов Западного Буга и Солокии, из военных городков Равы-Русской и Перемышля собрались они на запыленном перроне, под огромным виадуком вокзала, лишь кое-где отделяющего их от задымленного неба последними уцелевшими стеклами.

Первые бои сожгли их жилища и выбросили с насижен-

ных мест. Ожидая, пока кончится проверка документов и будет снято оцепление, они пугливо озирались на проходящих по перрону немецких солдат и их помощников полицаев в черных «мазепинках» с трезубами. Вот оно, подлинное народное горе!

Около того самого кипятильника, где недавно ранили Журженко, стоял Эмиль Леже. Его круглое банджо, подобно карабину, болталось за спиной. Эмиль был в лыжной тирольской шапочке, в сапогах с высокими задниками. Зора — так звали его жену-чешку, — наклонившись над годовалым младенцем, хлопотала у голубой колясочки, пыталась всунуть в ротик ребенка соску, напоить его молоком, но тот отчаянно мотал головой. Не помогала и «коза», которую делал ему пальцами Эмиль.

На вокзале скопились и местные жители, застигнутые войной во Львове и ждущие первых поездов в сторону запада — на Перемышль, на Стрый, Станислав и Дрогобыч, откуда катились волны немецкого вторжения. Их пугала неизвестность, принесенная захватчиками, волновала судьба близких, переживших первые сражения на границе...

К таким пассажирам принадлежал и знакомый нам почтальон из Тулиголов Хома. Когда мимо него проходили немецкие солдаты, он боязливо прижимал к телу картонную коробку.

Хома хотел было дать дорогу встречной монахине, но, узнав в ней дочь своего священника, закричал изумленно:

— Панунцьо! Цилую руци!

— Вы давно из дому, дядько Хома? — торопливо спросила Иванна.

— Да с субботы... Приехал черевики покупать. — Он показал на коробку, зажатую под мышкой. — А тут бабах, и бомбы посыпались...

— Что у нас дома, дядько Хома?

— До субботы было все в порядке. Правда, сперва отец Теодозий был дуже зденервованный, що вы не повертаетесь, но потом приехали богослов Роман, сказали, что с вами ничего не случилось и вы задерживаетесь во Львове. Ну, тогда отец Теодозий успокоились... Только...

— Ну что? Да говорите же, ради бога! — тревожно вскрикнула Иванна, уловив, что почтальон замялся.

— Только пан отец были очень огорчены, что пануся ничего не сказала им, уезжая, про телеграмму.

— Про яку телеграмму?
— Ну, яка пришла до пануси телеграмма з университету. Я отдал ее пану Роману.
— Пану Роману? — протянула Иванна. — Ничего не знаю!

— А я тоже ничего не знаю. Только телеграфистка наша, Дзюнка, сказала мне и отцу Теодозию, что сам ректор университета до пануси депешу прислали.

Недоуменным взглядом посмотрела на почтальона Иванна, но громкий стук заставил ее обернуться.

По перрону зацокали подкованные сапоги гитлеровцев.

Отряд полевой жандармерии вел задержанных во время облавы на вокзале подозрительных людей. Среди них были раненные.

Угрюмо посмотрел из-под козырька тирольки на проходящих Эмиль Леже. Видимо, его мрачный взгляд, лишенный какой бы то ни было симпатии к победителям, перехватил фельдфебель с блестящей, напоминающей полумесяц, металлической бляхой на груди. Он круто свернул к Леже.

— Юде? — резко спросил гитлеровец.

— Найн! — спокойно ответил Леже.

— Врешь! Юде! — крикнул жандарм.

— Можете думать что хотите. Я говорю вам правду! — на чистейшем немецком языке ответил Леже.

— Давай сюда! Становись в шеренгу! — скомандовал жандарм и жестом показал на колонну задержанных.

Зора подбежала к жандарму и, хватая его за руку, с мольбой в голосе попросила:

— Пане лйтер, то мой муж. Он француз, а не еврей...

— Генуг!¹ — крикнул гитлеровец и оттолкнул Зору прикладом автомата.

Она отшатнулась, нечаянно толкнула ногой коляску с ребенком, и та покатилась, пересекая перрон, к блестящим рельсам. Улыбался в ней, глядя в небо, розовощекий ребенок.

Слились в один два женских крика: Зоры и Иванны. Голубая коляска с ребенком съехала с перрона и стала поперек отполированных колесами путей. А на нее, на всех парах, давая гудки, мчался первый поезд с границы.

¹ Довольно! (нем.)

Иванна метнулась к коляске, едва успела оттащить ее, как мимо замелькали обвешанные народом вагоны тормозящего пригородного поезда.

Два гитлеровца схватили Эмиля Леже и стали заламывать назад его руки.

Зора откатила коляску к стене и, пытаясь прорвать кольцо оцепления, закричала:

— Он музыкант! Вы не имеете права. У него французский паспорт!

— Генуг! — крикнул разъяренный фельдфебель и сбил тирольскую шапку с головы Леже.

— Цурюк! — вторя своему начальнику, кричали охранники и отгоняли Зору.

Рыдая, обессиленная женщина вернулась к ребенку. Иванна передала ей дугу коляски и, подняв голову, увидела, что по ступенькам вагона подошедшего поезда медленно спускается на перрон ее отец.

— Тато!.. Таточку! — крикнула, бросаясь к Ставничему, Иванна.

Она целовала отца в небритые щеки и приговаривала:

— Боже, какое счастье, что ты жив, татусю! — И, вглядываясь в постаревшее, усталое лицо священника, она удивленно воскликнула: — А почему ты без шляпы, татуню?

Ставничий с прискорбием посмотрел на Иванну и, показывая на зажатый у него под мышкой портфель, набитый епархиальными книгами, сказал:

— Здесь все, что у нас с тобою осталось, доченька...

Тем временем отряд фельджандармерии вывел мимо патруля полиции, охраняющего выход на вокзальную площадь, задержанных во время облавы людей.

Их внимательно разглядывал стоящий на посту вместе со своими полицейскими сотник Каблак.

Правнялся с ними Леже.

Каблак сразу узнал задержанного француза.

— Бонжур, месье! — пристраиваясь к колонне и деланно улыбаясь, сказал он. — Какая приятная встреча, не правда ли?.. Какие песенки вы споете нам теперь?.. Вы всё еще «люблю советских люди»?

СВЯТОЙ ВОЕНКОМАТ

Исполнилась заветная мечта митрополита и его священнослужителей: пришла гитлеровская армия, угрожая Востоку, завоевывая советские территории, пораженные безбожием.

Двор собора святого Юра в этот день был заполнен священниками. Со всех концов Львовской епархии съехались они к своему «князю церкви».

«На Востоке можно будет обрести тысячи новых приходов и сотни тысяч, да куда там — миллионы верующих!» — рассчитывали миссионеры униатской церкви.

Два священника оживленно беседовали под аркой, увенчанной гербом графского рода Шептицких. Более молодой говорил пожилому пастырю в потрепанной сутане:

— Вам хорошо, отец Амброзий, вы вдовец. Можете сразу в епископы или архимандриты. Я бы советовал вам в архимандриты. Хлебное и спокойное место! Просите себе Мгарский монастырь святого Афанасия сидящего, что возле Лубен. Природа там богатая, река Сула протекает и земельных угодий вдоволь.

— А от Львов далеко? — заинтересовался кандидат в архимандриты.

— Рукой подать... Километров шестнадцать...

— Возможно, вы правы, — задумчиво согласился священник.

Худенький священник в коричневой рясе подобострастно расспрашивал дородного попа с военной выправкой:

— Отец Гавриил! Вы были фельдкуратором в австрийской армии в первую мировую войну и дошли с нею до самого Днепра. Скажите, будьте ласковы, в Умани река есть?

— Река? — Отец Гавриил наморщил лоб и призадумался. — Вы знаете, не припомню. Склероз. Но там чудесное имение графов Потоцких. Софиевка! Знаменитое имение. Черные лебеди когда-то плавали. Только вот не знаю, что с ними большевики сотворили! Быть может, в столовую Нарпита на гуляш они пошли. Ха-ха-ха! Гуляш из лебедятины для товарищей комиссаров. Не плохо, что? — Довольный своей шуткой, отец Гавриил засмеялся сочным, раскатистым басом.

Но попику в коричневой сутане было не до шуток. Ведь если, не теряя времени, с благословения митрополита он рванется вслед за немецкими войсками на Восток и достигнет Умани, то ему удастся захватить там приход. Обращая грустные глаза к отцу Гавриилу и как бы рассуждая вслух, священник сказал:

— Вы говорите, имение графов Потоцких? Так ведь один из Потоцких, граф Альфред Потоцкий, сейчас живет в городе Ланцуте, в своем имении, и дружит с немцами. Его хорошо знает наш митрополит. Он, по-моему, даже находится в дальнем родстве с тем Потоцким. Несомненно, сейчас граф Альфред поедет в Умань принимать свое имение. Может, попросить его эксцеленцию, чтобы он направил меня в Умань с письмецом? Граф Альфред Потоцкий стал бы патроном церкви, в которой я буду служить?

Отец Гавриил удивленно и очень внимательно посмотрел на попика в коричневой рясе и сказал, смеясь:

— Ох и голова вы, отец Зиновий! С такой головой вы не пропадете и там, в Большевиин. Конечно, мысль очень хорошая. — И, как бы поощряя попика, он покровительственно похлопал его по худенькому плечу.

Из палаты митрополита вышел на подворье высокий и бородатый митрат Кадочный. Лицо его светилось улыбкой. Он с довольным видом разглядывал документы.

— Уже получили назначение, отче Орест? Куда? — спросил священник в коричневой сутане.

— Мне дали деканат в самом Каменец-Подольске. Недалеко, и место чудесное. Старинный, живописный город. Когда-то столица петлюровской директории. Его эксцеленция, наш митрополит, как был, так и остается епископом каменец-подольским. Значит, под его высоким покровительством непосредственно пребывать буду...

— Повезло же вам, отче Орест, — с явной завистью сказал дородный отец Гавриил. — Город близехонько от Збруча. Недаром вы любимец митрополита. А что это у вас? — Он показал на бумагу с немецким орлом и свастикой, которую держал в руках митрат Кадочный.

— Марш-бефель! — гордо помахал немецким командировочным удостоверением Кадочный. — Разрешение на право следовать сразу же за войсками...

— Митрополит выдает и такие документы? — приближая близорукие глаза к немецкому удостоверению, удивился черный, как жук, коротконогий священник.

Отец Орест объяснил:

— В покоях на правой половине — полевой штаб штурмбанфюрера СС пана Альфреда Дитца. Он курирует вопросы церкви... Штурмбанфюрер Дитц жил во Львове еще в австрийские времена, он старый приятель украинцев и разговаривает по-нашему... А вот и отец Теодозий.

Священники, расступаясь, участливо давали старику дорогу, а митрат Кадочный, подойдя к отцу Теодозию, тонким человеком знающего и бывалого прошептал:

— Заходите сразу, отче Теодозий. Без всякой очереди. Предупредите только келейника Арсения. Погорельцев и пастырей, пострадавших от большевиков, его эксцеленция принимает немедленно...

Следуя совету Кадочного, Ставничий, наклонив обнаженную голову и осеняя себя крестным знамением, поднялся на второй этаж капитула. Действительно, несмотря на то что приемная была забита ждущими своей очереди священниками, келейник Арсений довольно быстро провел его в угловую розовую комнату в покоях митрополита. Стены этой комнаты были обтянуты розовым узорчатым шелком, оттого это святое святых митрополии называли розовыми покоями.

Митрополит сидел около золоченого камина в своем любимом кресле с высокой, обтянутой парчой спинкой. Возложив мясистые, большие руки, пораженные, как и все его грузное тело, слоновой болезнью, на мягкие поручни кресла-трона, Шептицкий внимательно выслушал рассказ стоящего перед ним навтыжку Ставничего.

Дрожащими от волнения руками отец Теодозий извлек из потрепанного портфеля две метрикальные епархиальные книги, тяжелую Библию в кожаном переплете и, возлагая все это на соседний резной столик, сказал:

— Вот все, что осталось от моего деканата, ваше высокопреосвященство!..

— Вы неправы, сын мой, — мягко поправил его Шептицкий. — Осталось все, что нетленно. С нами бог! Он остался с нами не пораженный огнем войны в те трудные минуты, когда грохотали пушки наших спасителей. Он

услышал наши молитвы и помог сильным мира сего свергнуть царство безбожия на нашей земле...

— Но моя паства, ваша эксцеленция, брошена на произвол судьбы. И служить богу теперь негде. Разве что под открытым небом!

— Будете отправлять службу в соседней дочерней церкви святых Космы и Дамиана, а со временем на пепелище вашего деканата мы воздвигнем новый, на этот раз уже каменный храм, — утешил Ставничего митрополит. — Святой отец наш, папа Пий XII, отпустил нашему капитулу пятнадцать миллионов немецких марок на скорейшую ликвидацию последствий тлетворного влияния большевизма. Часть этих средств мы обратим на восстановление и обновление наших храмов...

— Есть одно неудобство, ваша эксцеленция, — растерянно пробормотал Ставничий. — В дочерней церкви святых Космы и Дамиана после рукоположения собирався править службу божью Роман Герета. Он мой будущий зять, а получится, что я перебегаю ему дорогу...

Взмахом руки митрополит остановил Ставничего.

— Я отзываю Романа сюда. Он человек молодой, деятельный. Ну, словом, могу сообщить вам доверительно, пока не для огласки: самые достойные и самые уважаемые представители нашего украинского общества адресовались по моему совету к фюреру великой Германии Адольфу Гитлеру с всемилостивейшей просьбой разрешить нам создать воинское соединение из украинцев, которое смогло бы бок о бок с доблестным немецким воинством идти под знаменами рейха на безбожную Москву... Если имперская канцелярия доведет нашу просьбу до сведения фюрера и он разрешит нам сформировать такое соединение, я назначу в него капелланом Романа Герету.

— Простите мою назойливость, ваша эксцеленция. А моя дочь? Они ведь обручены...

— До Москвы отсюда недалеко, отец Теодозий, — сказал, мило улынувшись, митрополит. — После взятия Москвы, когда это гнездо антихристов окажется в наших руках, Роман получит по моему ходатайству отпуск и справит свадьбу с моей крестницей и вашей дочерью не в Тулиголовах, а здесь, во Львове. А пока, на этот переходный период, я советую вам, отец Теодозий, оставить вашу дочь в монастыре под покровительством игуменьи Веры...

«В эти горькие минуты, — читал я в тетради отца Теодозия, — я так верил митрополиту. Мог ли я предполагать, во что обернется дальше его кротость и ласка?..»

НА ГОРЕ ВРОНОВСКИХ

Полицейский в черном мундире изо всех сил заколотил ломиком по стальному рельсу, подвешенному у караульного помещения — «вахи» — Сталага-325, на горе Вроновских.

Назойливые и властные звуки гонга проникали в подвалы кирпичных бастioned, разносились над загородками-клетушками, сделанными из колючей проволоки на макушке горы, под открытым небом.

Под эти звуки из подвалов и проволочных загоронок стали появляться военнопленные. Истощенные, заросшие, подталкиваемые охраной, они старались поддержать раненых. Об участи, которая ждала их здесь, за колючей проволокой львовской Цитадели, красноречиво говорили надписи, выделенные белой краской огромными буквами на полукруглых стенах кирпичных бастioned:

ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ РАЗРЕЗЫВАТЬ ТРУПОВ ВОЕН. ПЛЕННЫХ И ОТДАЛЯТЬ ТАКОВЫХ ЧАСТЕЙ. НЕПОВИНОВЕНИЕ — СМЕРТЬ!

Комендант Сталага-325

Оберст ОХЕРНАЛЬ

Дюжие полицаи, вооруженные деревянными палками, подгоняли отстающих ударами палки, громкими окриками: «Шнель! Шнель!»

Опухшие от голода, оборванные, люди прилагали все усилия, чтобы дотянуться до главной линии колючей проволоки, отделяющей их от лагерной линейки, и, уцепившись за нее грязными пальцами, ждать. Чего? Быть может, после очередной «селекции» — отбора их повезут на расстрел? Или удары гонга призывают их для очередного пересчета?

А может, что самое желанное в нынешних условиях, для вывода на работу? Пока они будут тащиться туда, на шоссе к Олеську, окруженные вахманами и сторожевыми псами, чтобы отремонтировать там дороги, кто-нибудь из

прохожих нет-нет да и забросит кусок хлеба или пару картофелин в середину колонны. Да и там, под палящим солнцем, когда они дрожащими, ослабевшими руками будут ремонтировать мостовую, укладывая на подушку дороги тяжелые каменюки, иные смельчаки из сердобольных жителей, подползая огородами, будут бросать им початки вареной кукурузы, буханки домашнего черного хлеба, а иной раз — и это великое счастье — кинут шмат ржавого, посыпанного солью запорожского сала. Голод мучил военнопленных: в Цитадели уже давно съедены вся лебеда и крапива. Даже кора на молодых и без того чахлых липах и ясенях начисто счищена — в рост человека. Даже крысы и кошки боятся забегать сюда, чтобы не стать случайно добычей пленников. У внутреннего входа в лагерь в камне стены хорошо заметна надпись на немецком языке: «Отсюда только один путь — на кладбище».

Кто ее выцарапал? Может быть, в бессонную ночь дежурства вахман-немец, ужаснувшийся тем, что ему довелось увидеть в Сталаге-325?

И повсюду проволока! Тонны проволоки густыми рядами вдоль и поперек переплели дреколья — привезенные специально из Германии на славянскую землю железные скрученные палки. Неведомые немецкие конструкторы Берлина или Дюссельдорфа немало поломали себе головы, чтобы эти остроконечные палки делали еще более прочными густые проволочные заграждения. Казалось, нет силы в мире, которая смогла бы разорвать эту стальную паутину.

Вызванные на лагерный плац военнопленные увидели сквозь переплеты из колючей проволоки и через круглые шары проволочных спиралей Бруно, как вахманы услужливо пропустили в распахнутые ворота Цитадели дамскую делегацию «украинского комитета помощи». Ее направил на помощь страждущим и жаждущим сам митрополит Шептицкий.

Дамы-патронессы, жены и вдовы львовских адвокатов, судебных советников, бывших делегатов польского сейма и австрийского парламента чинно шествовали по дороге, по которой еще сегодня ночью вывозили в Лисеницкий лес на сожжение сотни трупов.

В черных платьях, отороченных кружевами, в старомодных мантиях, вытащенных из пропахших нафтали-

ном сундуков, с четками в руках и крестиками на груди, они мелкими шажками, с опаской приближались к лагерному плацу. Из-за колючей проволоки на них глядели тысячи голодных, настороженных глаз.

Среди светских благотворительниц на вершину горы Вроновских поднимались и монахини-василианки: игуменья Вера, сестра Моника, Иванна Ставничая и другие монахини. Они несли сюда связки молитвенников, шкатулки с крестиками и нагрудными иконками.

Игуменья Вера, взобравшись на услужливо подставленный ей полицаем в зеленой одежде деревянный ящик, скорбным голосом обратилась к пленникам:

— Дорогие сыночки! Братья Христовы! Не по своей воле многие из вас сражались под знаменем антихриста в безбожной Красной Армии, а теперь попали в большую беду. По милостивому соизволению немецких властей мы пришли к вам на помощь. Подпишите декларацию о своем полном разрыве с большевизмом, попросите помилования у фюрера великой Германии Адольфа Гитлера! И мы хлопочем о вашем скорейшем освобождении и окажем посильную помощь каждому декларанту независимо от его прошлого. Пусть же учение смиренного господа бога нашего Иисуса Христа возвратит вас на путь покорности и благодарумия...

— Вопросик, мамаша! — крикнул из-за проволоки заросший военнопленный с зелеными петлицами пограничника.

— Прошу, сын мой! — сказала игуменья, радостно оживившись.

— А вы знаете, как кормят нас за этой проволокой? А знает ли ваш Иисус Христос, сколько людей здесь ежедневно умирает от голода? Чи очи ему позастило? — перешел он на украинский язык.

Игуменья смешалась. Никак не ждала она столь резко и прямого вопроса от истощенного, едва стоящего на ногах человека. Как украинец, пограничник имел возможность при желании выйти отсюда первым. Но столько ненависти было во взгляде его запавших глаз, что игуменье сделалось страшно.

Иванна, разглядевшая окровавленный бинт под разорванной рубашкой на груди военнопленного, стыдливо отвела глаза. Тут же ее взгляд наткнулся на полное зло-

вещего смысла распоряжение полковника Охерналя на стене бастиона.

— Я поэтому и говорю, сыночки, — подавляя растерянность, продолжала игуменья, — что знаю, как вам сейчас трудно. Но в ваших собственных руках находится возможность избавиться от тягостного плена. А чтобы вам легче было очистить от скверны ваши души, мы раздадим вам нательные крестики и молитвенники... Хочу снова напомнить вам — до меня это говорило вам начальство, — что украинцам будет оказано преимущество при освобождении. Они смогут сразу поступить на вспомогательную службу к победителям либо вернуться к семьям, домой.

— Мамаша, ридненька, — не унимался пограничник, подмигнув стоящему рядом с ним пленному. — Выходит, что у вашего Христа две правды и два милосердия — одно для украинцев, другое для остальных людей?

Мордатый вахман в зеленом, приблизившись к ограде, замахнулся палкой и закричал:

— А ну, ты, гнида большевистская, закрой пыск!

Пограничник отшатнулся от проволоки, едва не упав. Показывая на вахмана рукой, он сказал:

— Ото бачите, хлопци, милосердя боже!

Старший лейтенант Зубарь тем временем шепотом передал по рядам:

— Держись, братва, не продаваться за чечевичную похлебку!

Раскрывая на ходу портфель, набитый декларациями, Иванна приблизилась к проволоке. Она остановилась перед пленным, который показался ей посмирнее, и спросила робко:

— Вы подпишете?

— Я присягу давал, — отрезал пленный.

— Вам дать? — спросила она соседа.

— Уматывайся!

— А как вы?

— Предателем не был!..

Растерянная неожиданным сопротивлением людей, стоящих уже у смертельной черты, Иванна дошла вдоль проволоки до Зубаря и, узнав его, отшатнулась. До чего же изменился этот brave командир, еще недавно такой веселый и разбитной! Голова его была замотана грязным бинтом, щеки запали, скулы поросли жесткими волосами.

— Признали, невеста? — криво усмехнулся Зубарь.
— Возьмете декларацию?
— Быстро же вы перекантовались, пани Иванна, — сказал Зубарь, — из студентки советского университета да в гитлеровские подлипалы...

— Вы ошибаетесь, — тихо ответила Иванна, — студенткой советского университета я никогда не была. Меня туда не приняли.

— Врете! Были! Человек из-за вас кровь пролил, а вы... Эх!

В это время к Иванне подошла одна из дам-патронесс.

— Дайте я вам помогу. Я еще в первую мировую войну около Ярослава уговаривала пленных царских солдатиков. У меня есть опыт. Дайте мне портфель. — И, приняв от Ставничей портфель, дама сказала властно Зубарю: — Берите декларацию, пока не поздно. А то будет плохо!

— Танцуй отсюда к чертовой матери... Кикимора! — бросил Зубарь и повернулся к даме спиной, покрытой лохмотьями гимнастерки.

Его соседи заулыбались.

Посрамленная дама-патронесса нервно возвратила Иванне портфель, а сама вернулась к игуменье и стала ей что-то зло доказывать, кивая в сторону военнопленных.

Глаза Ставничей напрасно искали за колючей проволокой людей с надломленной волей. Вот ей показалось, что другой пограничник, светловолосый крепыш с зелеными петлицами на гимнастерке, как-то странно, незаметно от товарищей подмигнул ей. Ставничая радостно подвинулась к проволоке и молча протянула крепышу декларацию.

— А какой аванс мне будет, пани монашка? — спросил тот.

— За что аванс? — с недоумением спросила Иванна.

— Ну, за предательство. Больше, чем Иуда за Христа получил, али меньше?

Иванна отпрянула. Ветер вырвал из ее рук листок декларации и закружил его над стенами колючей проволоки. Подавленная не то решительностью пленных, не то укором Зубаря, она сделала два шага в сторону, и тут взгляд ее столкнулся с грустными глазами капитана Журженко.

Он стоял, прильнув к проволоке и опираясь на кусок обломанной доски, в той же самой, теперь уже сильно

загрязненной полосатой больничной пижаме, в какой его поймали в монастырском саду. Грусть и презрение прочла в его взгляде Иванна.

Она попыталась было протянуть декларацию капитану, но Журженко, отстраняя листок движением руки, спросил:

— Так что же радостного принес вам ветер с запада, панно Иванна? Эту сутану и потерянную молодость?

Иванна молча мяла в руках декларацию. Она не могла поднять глаз от стыда за то, что по ее вине капитан попал за эту ограду.

— Хотя вы причинили мне много горя, капитан, — словно оправдываясь, сказала она очень тихо, — но я не сержусь на вас. Поверьте! Христос учил нас прощать обиды даже врагам и грешникам...

— О каком горе вы говорите? — прервал ее Журженко.

— Не будем об этом, — с волнением ответила Иванна. — Зачем вспоминать прошлое? Подпишите лучше, мы сможем облегчить вашу участь...

— Вы ошибаетесь, Иванна. Нам перекантовываться труднее.

Желая хоть сколько-нибудь скрыть смущение и уйти непосрамленной, как дама в черном, Иванна протянула декларацию и стоявшему рядом французу. Она сразу узнала Эмиля Леже и вспомнила трагическую сцену на вокзале, слезы его жены, голубоглазого ребенка в коляске.

— Мерси бьен, — гордо ответил Леже. — Я по-вашему не знаю... — И он демонстративно отошел от проволоки.

ОБМАН РАСКРЫТ

Как стая потревоженных ос, спускались по мощенной круглыми булыжниками улице из Цитадели к главному почтамту «благотворительницы».

— Какая наглость! — ведя под руку игуменью Веру, говорила с возмущением та, которую Зубарь назвал кикиморой. — Еле-еле душа в теле, а еще огрызаются!

— Ужас, ужас! — согласилась игуменья. — Такие фанатики! Мне их совсем не жалко, но его высокопреосвященство настаивает, чтобы мы не прекращали опекать их. Он верит, что кто-нибудь раскается. А разве такие на это способны?

Возле ворот, пропуская делегацию, Каблак в новом мундире поручика полиции подошел к Иванне.

— День добрый, панунцо! — сказал он, козыряя. — Как поживаете?

Еще на монастырском подворье, когда она увидела Каблака в каком-то доморощенном мундирчике со знаками различия, сделанными наспех, Иванна удивилась тому, как быстро перевоплотился этот оборотень.

Сейчас же, взглянув на его нагловатое лицо и нарядную, хорошо пригнанную униформу, Иванна сказала напрямик:

— Матерь божья! Как же это вы так быстро сумели... перекантоваться?

— Панно Иванна плохо знает меня, — нисколько не смутился Каблак. — И в университете я был в этом мундире, как человек-невидимка. И вся история с отказом в поступлении в университет — то буйда, цирк! То жених панны и мой приятель Ромцю попросил меня сыграть эту комедию. И очень хорошо, что вы не были зачислены. Посудите сами: университету пшик, а у вас хлопот меньше.

— Все это подстроил Ромцю? Боже! — в ужасе протянула Иванна. До нее только сейчас дошел смысл циничного, откровенного признания Каблака.

— А вы не огорчайтесь, панно Иванна, — усмехаясь, утешил ее Каблак, — никто не станет вам засорять мозги всякими марксизмами-ленинизмами. За работу в нашем подполье митрополит даст Роману хороший приход или устроит его в капитуле. Будете жить припеваючи. Все бывшие студентки только позавидуют вам.

Иванна долго не могла опомниться от того, что узнала от Каблака. Как нагло и подло ее обманули! Как может существовать такая низость среди людей, проповедующих слово божие? Возвратившись в монастырь и придя в свою келью, она попробовала было молиться, стала даже на колени перед иконкой пресвятой богородицы, но молитвы не получалось; скорбный лик девы Марии расплывался, как в тумане, а за ним ясно вырисовывалась паутина колючей проволоки, а за нею вереница истощенных лиц, Зубарь, пограничники, Журженко. Но как понимать то, что сказал ей Зубарь: «Студентка советского университета»? Разве была она ею когда-нибудь? А надпись на стене бастиона? Или полный укоризны взгляд Журженко, которого она, по существу, выдала? Как все это страшно! Кругом чужие,

даже Герета и тот предал ее. «Скорее повидать татуся! Рассказать ему все».

Придя к этой мысли, она попросила у игуменьи разрешения отлучиться от монастыря. Иванна не шла, а бежала на окраину города. У священника церкви святой Пятницы на Балоновой улице отца Ивана Туркевича обыкновенно останавливался отец Теодозий. Однако старенький священник, который когда-то был одновременно и учителем закона божия в гимназии Кукурудзов, сказал ей, что Ставничий, правда, побывал у него, но собирался остановиться у пастыря церкви Петра и Павла, Евгена Дудкевича, в его доме на Лычаковской улице.

Иванна зашла на уютный погост древней церкви, окруженный тенистым садом. Она задержалась у стены, в которую была вмурована надгробная плита какого-то из молдавских господарей, бывших ктиторами этого храма. На плите виднелся гербовый щит с головою быка, луной и солнцем и зубчатой короной, а под ним надпись:

СОЛНЦЕ МІСЯЦЬ І КОРОНА
СІЯ ТРОЙЦЯ НАША ОБОРОНА...

Машинально прочитав старинную надпись, Иванна задумалась: «Разве способна помочь эта «тройца» тем несчастным, что томятся за колючей проволокой Цитадели? Люди могут помочь им, а никакие короны и небесные светила!» Она вышла на улицу и, дойдя до остановки, вскочила в маленький трамвай, который мчал от Замарстинова к центру. Первый вагон был полупустой, и на боку у него виднелась надпись: «Нур фюр дойтче унд фербиндете» — «Для немцев и союзников». Зато второй, предназначенный оккупантами для местных жителей, был набит до отказа. Иванна попыталась протиснуться с подножки внутрь. Ей дал дорогу элегантный итальянский офицер-берсальер с пышными перьями на головном уборе. Его усиленно зажимали со всех сторон, но он держал себя по-джентльменски. Тогда какой-то пожилой львовянин, сидящий у окна, должно быть бывший австрийский вояка, побывавший в итальянском плену в первую мировую войну, сказал берсальеру по-итальянски:

— Почему вы мучаетесь здесь, тененте? Как союзник немцев, вы имеете право ехать в переднем вагоне.

Итальянец иронически улыбнулся и, высвободив руку

в замшевой перчатке из кольца поручня, безмолвно махнул ею, как бы говоря, что ему наплевать на эту привилегию и на самих гитлеровцев.

ТРАМВАЙ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

Не доезжая метров трехсот до моста, повисшего над Замарстиновской, трамвай резко затормозил. В открытые окна вагона потянуло гарью.

Кондуктор в синей конфедератке, окантованной малиновым шнуром, выглянул в дверь и, свистнув, спокойно уселся подремать на свое сиденье.

Вскоре все пассажиры увидели языки огня за высоким деревянным забором.

Один за другим стали они выскакивать на мостовую. Спустилась туда, подбирая полы сутаны, и Ставничая.

Посреди улицы, держа автоматы наперевес, преграждая путь трамваю, стояли гестаповцы. В маленькой улочке, что вела к соседней Жовковской, тоже виднелись фуражки гестаповцев. Путь к центру был перерезан.

— Гетто жгут! — тихо сказал старичок, который советовал итальянцу пересесть в первый вагон.

— О, тогда это надолго, — деловито бросила толстуха, похожая на торговку с Краковского рынка, с лоснившимся лицом и узкими свиными глазками. — Много времени нужно, пока всех их уничтожат!

— Побойся бога, пани, — сказал старик. — Ведь это живые люди!

Обостренным чутьем Иванна уловила в словах торговки всю мерзость львовской «колтунерии», закоренелого, страшного в своей мещанской жадности отребья. При немцах оно снова подняло голову, спекулировало вовсю и сходно выдавало украинской полиции евреев за любое вознаграждение. Иванна подошла к старику и произнесла:

— А мне так нужно на Лычаковскую!

— Действительно быстро нужно, панно Иванна? — услышала она за спиной знакомый голос.

За ней в одежде украинского полицая стоял тот самый Грицько Щирба, студент Львовского политехникума, который в Тулиголовах так сердечно поздравил ее с принятием в университет.

На нем сейчас не было ни кокетливой шляпы с фазанным перышком, ни кимовского значка на вышитой сорочке. На широко развернутых плечах Иванна увидела черный мундир украинского полица и ставшую ей уже ненавистной «мазепинку» с гербом националистов — трезубом. Один глаз у полица был прикрыт черной перевязью. Должно быть, его недавно ранили.

— И вы тоже... Так быстро? — сумела только сказать Иванна.

Полицай поманил ее в сторону. Когда они подошли вплотную к забору, за которым полыхало пламя, он сказал тихо и доверительно:

— Не принимайте это всерьез, панно Иванна. Наступит время, когда вы меня поймете и оправдаете. И разве ваша сутана — это то, о чем вы мечтали?.. Скажите лучше, действительно вам нужно быстро туда? — Он кивнул головой в сторону центра.

Было в голосе Щирбы что-то особое, душевное, отнюдь не похожее на тот бахвалисто-покровительственный тон, каким разговаривал с нею Каблак.

И, может быть, поэтому Ставничая сказала:

— Действительно нужно, и очень быстро! К отцу спешу!

— Ну, тогда я попробую использовать привилегию своего мундира! — сказал Щирба. — Давайте за мной!

Они подошли к проходной будке, через которую можно было проникнуть в северные кварталы города. Пять полицаев с автоматами наперевес стерегли вход туда.

— Со мной! — резко бросил Щирба, показывая на Иванну.

Когда один из полицаев распахивал ворота, из проходной будки высунулся какой-то пьяный ротенфюрер СС, должно быть начальник вахи, и, безбожно путая польские слова, зашел:

Ком, паненка, шляфен,
Морген сахарин,
Вшистка едно война,
Фарен нах Берлин...

Иванна покраснела и ускорила шаг. Многозначительно усмехаясь, смотрели ей вслед пьяный эсэсовец и подобострастные украинские полицаи.

Иванна и Грицько Щирба, войдя в первый же квартал гетто, увидели, как несколько эсэсовцев подкатили к стене дома бочку с горючим. Отбежав в сторону, вахманы дали по бочке очередь из автоматов. Зажигательные пули сделали свое дело. Сперва из бочки вырвалось несколько фонтанчиков огня, потом бочка с оглушительным грохотом разорвалась, выплескивая потоки пылающего горючего на стену дома. Все выше и выше поползло пламя, проникая в окна. Из дома слышались крики заживо горевших людей. И вот, казалось бы, в сплошной, давно замурованной стене лестничной клетки распахнулись потайные двери секретного убежища — «бункера». Оттуда вырвалась простоволосая женщина с грудным ребенком на руках. Она заметалась, пытаясь прорваться сквозь огненное кольцо на улицу. Хохочущий гестаповец вскинул автомат: женщина с ребенком повалилась в огонь...

Не шла, а бежала Иванна; то и дело она вздрагивала от близких автоматных очередей, от разрывов ручных гранат.

Горели жилые дома. Проваливались раскаленные крыши. Рушились стены, обнажая жалкое убожество комнат, где еще так недавно ютилось по несколько семей.

Крик, плач, стоны выкуриваемых полицией и гестаповцами из тайных бункеров узников львовского гетто доносились до убегавшей Иванны.

Она бежала из этого ада ошеломленная, плачущая. За ней, едва поспевая, шагал полицейский Щирба.

Внезапно Иванна задержала бег. На крышу горевшего шестизэтажного дома выскочил мальчишка лет десяти. Повидимому, родители сделали для него бункер на чердаке. Огонь лизал кровельное железо. Босоногий паренек, перескакивая с ноги на ногу на раскаленной крыше, смотрел на небо, где кружилось потревоженное пожаром воронье. Вздывая руки, он как бы взывал к черным вестникам смерти, чтобы взяли его туда, в небо, с собой, и, наконец отчаявшись, голосом, полным безумия, закричал:

— Боже, спаси меня, боже!

— Никакой боже теперь ему уже не поможет! — уронил Щирба.

Закрыв руками мокрое от слез лицо, вырвалась Иванна из пылающего гетто и, зацепившись за камень, упала. Щирба осторожно поднял ее. В это время по насыпи про-

носился товарный поезд. Окошечки его были в решетках, на вагонах таблички с надписями:

МЫ ЕДЕМ НА РАБОТУ В СВОБОДНУЮ ГЕРМАНИЮ

За решетками видны были заплаканные лица молодых людей, угоняемых насильно с Украины в рейх.

— Таков теперь путь на запад, панно Иванна, — заметил Щирба. — А по ночам по этой же дороге уходят поезда из Белжец. Там уже несколько месяцев горят вечные костры — «знич». На этих кострах тоже, как и здесь, сжигают людей...

Потрясенная Иванна, сославшись на то, что она крестница митрополита, вместо Лычаковской улицы прорвалась к Шептицкому. Келейник Арсений провел ее к «князю церкви». Поцеловав перстень со святыми мощами на руке митрополита, Иванна, захлебываясь от рыданий, взмолилась:

— Я столько увидела за сегодняшний день, что не могла не прийти к вам. Ведь вы сами разрешили приходить к вам, когда нужно будет, не правда ли?..

Рассказывая о виденном, она повторяла:

— Там творится невозможное, ваша эксцеленция! Тысячами погибают военнопленные от голода в Цитадели. Живые люди. Детей сжигают в огне. Как скотину, вывозят украинскую молодежь в Германию. Почему вы не протестуете, ваша эксцеленция? Почему вы не сообщите об этом немедленно святейшему папе? Ведь Гитлер может его послушать!

Шептицкий долго и внимательно смотрел на Иванну своими умными, пытливыми глазами и, когда она, вздохнув тяжело, замолчала, сказал ласково:

— Я глубоко тебе сочувствую и понимаю волнение твое, дитя...

— Пожалейте их, ваша эксцеленция! Одно ваше слово! Ведь вам ничего не будет!

— Одного моего слова не хватит, — уже строже сказал митрополит. — Церковь Христова бессильна что-либо предпринять в таких случаях. Это делает светская власть, с которой мы решительно ничем не связаны, и она никогда нас не послушается. Нам же остается только молитва, обращенная к господу богу нашему. Сам спаситель всегда в минуты трудные примером и словом и большим терпением



обращал свою паству к молитве. Вся история нашей церкви является историей молитвы. Пусть же будет и дальше с нами милость божия, это самое бесценное сокровище в брэнной жизни нашей, где все тленно и преходяще...

Потрясенная Иванна пыталась постигнуть смысл этих витиеватых, ко всему применимых слов митрополита, как вдруг внезапно распахнулись двери и за келейником Арсением, почтительно открывшим их, в палату быстрым шагом вошел Дитц.

Он снял фуражку с изображением мертвой головы и перекрещенных костей — такую же, как совсем недавно видела Иванна на головах гестаповцев в пылающем гетто, — пригладил волосы и, очень вежливо поклонившись владыке, сказал:

— Вот и снова я у вас, ваша эксцеленция! Только что из Киева. Дни, которые я провел под этим гостеприимным кровом, никогда не изгладятся в моей памяти. Потому-то я и решил навестить вас по одному щекотливому делу...

Дитц перевел свой взгляд на Иванну. И митрополит посмотрел на нее косо, давая понять, что аудиенция кончена, что Иванна здесь лишняя.

Иванна неловко поднялась, поправляя сутану, поклонилась, а митрополит, осеняя ее крестным знамением, сказал так же ласково:

— Иди с миром, дочь моя! И молись господу богу нашему.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Это был поворотный день в жизни Иванны, день, наполнивший ее душу невыносимым страданием. Только чрезмерное страдание — и не свое, а людское — побудило ее беспокоить митрополита. Теперь она поняла, насколько бессмысленной была ее затея.

Веселую, жизнерадостную девушку тяготило пребывание в монастыре василианок с той самой минуты, когда она впервые опустилась на колени на холодные камни монастырской церкви. Ее не увлекала ни торжественность богослужений, ни расположение к ней игуменьи, ни показное дружелюбие сестры Моники.

Теперь она твердо решила уйти из монастыря. С кем ей поговорить?

Игуменья помрачнела, когда Ставничая вторично в течение этого дня попросила разрешения отлучиться. Отца не оказалось у священника Туркевича. Однако, подумав, игуменья перекрестила Иванну и сказала:

— Иди, дочь моя, но только возвращайся до полицейского часа...

Иванна заспешила, но теперь она шла не к отцу, а к своей подруге Юльке Цимбалистой. И как это она не подумала о ней раньше?

Они встретились в маленькой комнатке в предместье Кульпарков, куда не смогла дойти Иванна, когда ее обманым образом завлекли в монастырь. За кружевной занавеской единственного окна зеленели фикусы. На односпальной кровати были высокой горкой уложены подушки. Чисто и уютно было здесь, не то что в монастырской келье.

Иванна сняла свою белую накидку и сейчас была похожа на ту самую веселую Иванну, с которой дружила

Юлька в Тулиголовах. Густые черные волосы волнами спадали ей на плечи.

Возбужденная всем тем, что услышала она от Цимбалистой, Иванна сказала:

— Теперь понятно, почему Зубарь крикнул мне: «Человек кровь за вас пролил!»

— А ты думала?

— Но почему ты не могла мне рассказать обо всем еще тогда?

— Рассказать? — воскликнула Юлька. — Я бы рассказала. А где тебя найдешь?

— И то правда, — согласилась Иванна. — Но как все это подло! Боже, боже! Так обманывать меня, свою невесту! В глаза говорить одно, а делать совсем другое! Если бы ты видела, какие добрые, искренние глаза были у Романа, когда он пугал меня тем, что уже выписан ордер на мой арест! А все было чистым притворством... Выходит, не будь войны...

— Ты была бы сегодня студенткой университета. А теперь таскай эту хламиду! — зло сказала Юля.

— Я ее сброшу, — решила Ставничая. — Вот сейчас же сброшу! Где мое платье?

— Какое платье?

— Ну, помнишь, то, в горошинку, что я оставила у тебя, когда «Украденное счастье» смотрели? Я уехала домой в шелковом, а то...

— Где-то здесь! — Юлька кивнула на шкаф. — Но погоди сбрасывать. — Она задумалась. — Сбросить всегда успеешь. — И, задумавшись о чем-то, спросила: — Скажи, там очень страшно?

— Ты даже себе не представляешь! Поделили эту гору на проволоочные клетки...

— Эту гору? Разве одну эту гору? — иронически воскликнула Юля. — Всю Украину поделили, разорвали на шматки. Нас сейчас присоединили до «генеральной губернии», Одессу отдали румынским боярам, в Ровно проехать без пропуска нельзя, бо там сидит «король Украины» гауляйтер Эрих Кох. Вот тебе и «самостийна».

— Они отняли у нас будущее, Юлька, — это самое главное, — сказала Ставничая, и в глазах ее блеснули слезы. — И если они так сейчас ведут себя, то что же будет дальше, когда Москву возьмут? Что тогда от Украины останется?

— А, видишь! А, видишь! Еще пела: «Боже единый, боже великий, нам Украину храни!» — внутренне радуясь прозрению подруги, запальчиво сказала Цимбалистая. — Сохранили, как же... Каблаку за то, что Украиной торговал, мундир полицейского офицера пожаловали, а твоemu Роману...

Иванна прервала подругу с возмущением:

— Он не мой! Ты же знаешь, с каким сердцем я шла на заручины!

— А что я тебе говорила? Не иди за этого катабаса. Фальшивая душа у него, хотя и сладенький такой он с виду. «Целую руци! Целую руци!»! А у самого сердце гадюки. То не твой отец.

— Мой тато никогда не вел двойной игры, не был карьеристом и меня всегда учил говорить только правду. Оттого и держала его консистория на задворках, в Тулиголовах.

— Интересно, Шептицкий знал обо всем этом? Ну, всю эту историю с отказом в приеме? Как ты думаешь?

— Думаю, знал. Если не он сам, то его каноники. Не мог Герета сам решиться на это. А со мной эксцеленция говорил так уклончиво, будто впервые слышит об отказе и о том, что меня не приняли из-за отца-священника.

— Нечему удивляться, — сказала Цимбалистая, утешая подругу. — Недаром пословица говорит: «У владыки два языки»...

— Сколько подлости вокруг! — с горечью воскликнула Иванна. — Подлости и крови! У меня ум за разум заходит. Такой мрак кругом. И стыдно мне очень...

— Даже в крошечной тьме можно отыскать просвет, — твердо сказала Юлька и испытующе посмотрела на подругу.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Иванна и с надеждой посмотрела на Юльку.

— Есть у меня одна думка, Иванна, — промолвила медленно Цимбалистая. — Я понимаю, как тебе тяжело от того, что ты ненароком выдала немцам капитана.

— Еще бы! Я ведь не знала, что это капитан, я думала, в саду просто раненый человек, и верила, что мы окажем ему помощь. Я себе этого простить не могу. Всю жизнь буду мучиться.

Юля подошла вплотную к Ставничей, положила ей на

плечи худенькие руки, долго смотрела ей в глаза, а потом решительно спросила:

— Слушай, Иванна... А если бы представилась возможность помочь им?.. Ты бы помогла? Ведь ты ход туда имеешь.

Иванна выдерживает острый и прямой взгляд подруги и, тряхнув длинными густыми волосами, решает:

— Так!.. Что надо сделать?

— Я посоветуюсь с нашими...

— Кто это «наши»?

— Хорошие люди!

НОЖНИЦЫ

Выплескиваясь на соседние улицы, бушевал непомерно разросшийся за время оккупации Краковский базар за Оперным театром, называемый «маленьким Парижем».

Чего здесь только не было, какие песенки можно было услышать!

Вот курносый замурзанный «батар», озираясь, нет ли вблизи полицаев, и подмигивая соседям, пропел на ходу:

Пане Гітлер, дайте мила,
Бо вже воші мають крила...

Голосистые торговки-спиртоносы, бродя меж лотков с горячей, распаренной колбасой в кастрюлях, с фляжками под фартуками, таинственно, полушепотом выкрикивают названия спиртных напитков оккупационных лет:

— Чмага! Чмага! Чмага!

— Бонгу! Бонгу! Бонгу!

— Аирконьяк! Аирконьяк!

Пышногрудая спекулянтка в ситцевом платье кокетливо постукивает деревянными сандалетами и подмигивает проходящим молодым людям на сулею самогона, которую она держит в руках.

Слепой шарманщик с обезьянкой, присевшей на краю раскрашенного музыкального инструмента — «катаринки», крутя рукоятку, напевает двусмысленную песенку о том, что Гитлер уже проиграл войну.

И чего только не покупают и чем только не торгуют на Краковском рынке — от португальских сардинок, фран-

цузских духов и коньяков до боевых пистолетов! Их охотно сбывают из-под полы сомнительные союзники гитлеровцев — военные из числа расположенного во Львове итальянского гарнизона «Ретрови итальяно». Что им до того, что оружие попадет к участникам Сопротивления! Им не нужна война. Чем хуже гитлеровцам, тем лучше, думает не один итальянец, заброшенный судьбой сюда.

Иванна в черной сутане, в белоснежной повязке, накрытой черной пелериной, медленно бродила по узеньким промежуткам в москательном ряду и присматривалась к товарам.

Вот она наклонилась, поторговалась, протянула хозяйну развала деньги и забрала у него большие ножницы для резки кровельного железа. Затем спешно спрятала покупку в тот самый портфель, в котором некогда хранились декларации.

Иванна подошла еще к одному торговцу. Взяла вторые ножницы. У третьего — еще одни.

Из соседнего ряда заметил Иванну совершающий обход с патрулем полиции Каблак. «Наверное, игуменья послала ее купить ножницы для монастырского сада!» — подумал он, не сводя глаз с красивой монахини, которая давно уже ему приглянулась. Не будь на пути его старого дружка Гереты, он охотно бы приволокнулся за дочерью отца Теодозия.

Обозревая все вокруг, Каблак не выпускал из поля зрения Ставничую.

Иванна остановилась около пожилой торговки. Как насадка, стоя над листом фанеры, та охраняет разложенный внизу товар. Совершенно новые, еще в масляной смазке, завернутые в прозрачную бумагу, лежат на фанере трое ножниц. С пружинами. Крепкие. Надежные!

— Почему пани продает ножницы?

— По пендзесэнт пьенц злотых!¹ — сказала торговка и зевнула.

— А разом все? — спросила Иванна и посмотрела вопросительно в мутные глаза торговки.

— Пусть будет за сто пятьдесят!

Ставничая порылась в широких карманах сутаны, достала оккупационные злотые, пересчитала их и растерян-

¹ По пятьдесят пять злотых (польск.).

но оглянулась, не замечая внимательно следящего за ее движениями Каблака. Денег не хватало.

Внезапно Иванну осенило. Она сняла с пальца обручальное кольцо и протянула его торговке.

— Я забираю все ножницы, а пани оставляю кольцо. Оно стоит куда больше, чем сто пятьдесят злотых. А завтра пани будет так добра принести кольцо на базар — я обменяю его на деньги.

Опасаясь подвоха, торговка осторожно взяла кольцо, недоверчиво повертела его в руках и спросила:

— А то настоящее золото?

— Посмотрите пробу! — поспешно бросила Иванна.

Торговка попробовала кольцо на зуб, заглянула на внутренний его обод, перевела глаза на Иванну.

— Если бы пани не была монашкой...

Не дослушав, Иванна быстро положила ножницы в портфель и, сказав: «Я буду здесь завтра», — исчезла в сутолоке базара.

Торговка хитровато подмигнула соседу, как бы говоря: «Черта с два я приду завтра на базар! Ищи ветра в поле», и еще раз, как очень вкусную конфету, попробовала кольцо на зуб. В эту минуту неожиданно-негаданно перед нею вырос Каблак в сопровождении двух полицейских в черном.

— Пани еще может подавиться! — сказал он, улыбаясь, и потребовал, чтобы торговка отдала ему кольцо.

— Проше пана, проше пана, — суетливо и жалобно пробормотала торговка. — То мое личное обручальное кольцо. Як бога кохам!

— Давай, пани, и не рыпайся, а то пойдешь со мной в криминальную полицию. Не знаешь разве, что все золото надо отдавать для победы империи? Давай, ну!

Торговка неохотно протянула Каблаку золотое кольцо, проклиная в душе незнакомую монахиню, которая всучила ей эту быстро уплывшую из рук драгоценность.

А два полицейских с завистью наблюдали, как Каблак опустил золотое кольцо с дарственной надписью митрополита Шептицкого в карман черного мундира.

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ

В тот же день Иванна Ставничая подошла с группой дам-патронесс к решетчатым воротам, ведущим в Сталаг Цитадели.

Над воротами распростер свои черные крылья орел, сжимающий в когтистых лапах круг со свастикой.

Как и в прошлый раз, дамы-патронессы держали под мышками пачки молитвенников, портфели с декларациями.

— Вам куда? Хальт! — крикнул часовой в черном, преграждая дорогу к воротам.

Иванна смело приблизилась к часовому и сказала:

— Мы из комитета помощи. Вот пропуск от оберста Охерналя!

— А здесь что? — ткнул часовой пальцем в большой пакет, что держала Иванна под рукой.

— Молитвенники! — твердо ответила Иванна.

Полицай бегло прочел пропуск и, пересчитав всех женщин, бросил:

— Только не задерживаться там долго, как в прошлый раз. Сам сатана не смог бы уговорить этих фанатиков! По-быстрому давайте!

— Пусть дадут сигнал сбора! — попросила Иванна, которой игуменья поручила заменять ее в этот день. Она облегченно вздохнула оттого, что полицай не пожелал развернуть пакет. Обложенное со всех сторон молитвенниками, в нем лежало то главное, что привело сюда сегодня Ставничую.

Пропустив делегатов за ворота, полицай изо всех сил заколотил в стальной рельс. И как прежде, на звуки этого гонга стали выходить и выползать отовсюду, из всех укрытий Цитадели и из проволочных загоронок, военнопленные.

Оторвавшись от дам-патронесс, Иванна пошла вдоль ограды, стараясь найти знакомых военнопленных.

Наконец она заметила Зубаря, который, едва передвигая ноги, приближался к проволоке.

— Я принесла вам декларацию. Подписывайте! — повелительным тоном сказала Иванна.

— Когда рак свистнет! — отозвался Зубарь.

И тут он услышал тихий шепот Иванны:



— Так надо. Берите. Привет от Юльки. Понимаете? Ну?..

Лениво взял декларацию Зубарь.

— Следите, где я оставляю пакет,— шепнула Иванна.

Заслоняя собою пакет с «молитвенниками», она опустила его по сутане на землю и потом протолкнула за проволоку. Как футбольный мяч, коротким пасом, Зубарь перегнал этот пакет ногой за спину. Как будто ничего не произошло, он стоял, навалившись на проволоку, разглядывая текст декларации.

Иванна двинулась дальше. Увидела Журженко. Шепнула:

— Подойдите к Зубарю. Ему нужно помочь. Слышите?

Было в ее голосе что-то такое, что заставило Журженко подчиниться Ставничей.

Когда совсем стемнело, во дворе Цитадели, разделенном на проволочные клетки, послышалась мелодия песенки о Марселе. Это, сидя под стеной бастиона, обозначенного римской цифрой «IV», брэнчал на банджо печальную песенку о родном городе отравивший себе бородку Эмиль Леже. Он пел о прекрасном острове Ив, куда влюбленные ездят на катерах, о статуе мадонны на высокой горе Марселя, которая, открываясь внезапно в тумане, как бы говорит рыбакам: «Ты уже дома», о сиреновой дымке — «сфуматто», застилающей берега Средиземного моря неповторимой голубоватой поволокой.

Несколько раз лагерное начальство пыталось отнять у Эмиля любимый инструмент, но он яростно отстаивал его, зная, что французы, англичане, американцы, канадцы и австралийцы, попадающие в гитлеровский плен, все же имели некоторые поблажки. Не в пример советским военнопленным, предоставленным самим себе, о них заботился Международный Красный Крест. Изредка он направлял военнопленным продовольственные посылки и одежду, а в лагерь — своих представителей из нейтральных стран.

Леже часто развлекал своих друзей по лагерю игрой на банджо. Как он признался мне позже сам, его любили «советские ребята», заступались за него, когда на лейтенанта наседали полицаи в зеленом.

Сегодня голос его звучал громче, струны звенели силь-

нее. Синий луч прожектора скользнул, рассекая темноту, и уткнулся в грудь Леже.

Вахман, стоящий на сторожевой вышке, управляя прожектором, крикнул:

— Эй, Франция! До холеры ясной, чего раскричался? Думаешь, оставили тебе тую мандолину, так можешь и по ночам спевать?

— Пусть играет! Не чипай его, будь человеком! — отозвался на этот крик Зубарь. — Хлеба не даете, так хоть песни послушаем. Все равно не спим — кишки марш играют. Жалко тебе, что ли?

Вахман на минуту пересек лучом прожектора грудь Зубаря и снова направил синее пятно света на француза, освещая его, как на подмостках театра. Видно, и вахману было скучно там, на верхотуре, и он стал гладить лучом прожектора бородатое лицо Леже, а тот, закрыв глаза, не обращая внимания на забаву вахмана, продолжал играть.

Как только темнота поглотила Зубаря, он повалился на бок и под аккомпанемент банджо стал резать ножницами проволоку внешнего обвода.

Спокойно брэнчал на банджо Леже. Волнуясь, резал проволоку Зубарь. Напрягая усилия и морщась от боли, перекусывал ножницами проволоку капитан Журженко. Весть, полученная с воли, что их ждут там, за Цитаделью, придавала каждому силы.

Острые ножницы действовали безотказно, разгрызая колючую проволоку. Звуки банджо заглушали шелканье, звон падающей на сухую землю немецкой проволоки. Перерезан последний ряд, открывший дорогу вниз, по глинистым склонам, на улицу, которая снова стала называться Пелчинской, или Пелчинскаштрассе. Один за другим поползли в отверстие, сделанное во внешнем обводе заграждения, военнопленные. Прижимаясь к земле, сливаясь с нею в своих грязных одеждах, они старались не попадать под ленивые лучи прожекторов.

— Эмиль, кончай концерт! — тихо предупредил Зубарь.

Перебросив за плечи банджо, музыкант припал к земле. Военнопленные собирались в овраге, под склонами Цитадели.

— Куда теперь? — шепнул один из пленных.

— Капитан знает! — ответил другой.

— За мной! Только тихо! — командует Журженко.
— А может, перемахнем улицу и парком за город, на Стрыйское шоссе? А там и Карпаты! — раздался чей-то голос.

— Слушаться капитана! — шепнул Зубарь. — Там переловят, как куропаток. А у нас раненые. Сюда давайте...

Капитан Журженко подвел их к полуразрушенному зданию на улице Богуславского и показал Зубарю на круглую крышку канализационного люка в подвале.

— Здесь!

Зубарь отвалил крышку, и навстречу ему сверкнул огонек электрической лампочки.

— Иван Тихонович! — раздался снизу знакомый голос Голуба.

— Да, это я, Голуб! — с облегчением шепнул Журженко. — По очереди всем спускаться вниз! — подал команду. — Там свои...

— Только швыдче, хлопцы, я посвечу! — торопит пленных Голуб.

По ржавым и скользким ступеням один за другим военнопленные опустились вниз, в коллектор Львова. Здоровые помогали раненым. Их осторожно принимали внизу Садакий, Голуб и Грицько Щирба в одежде украинского полиция. При свете фонариков показывали, куда ставить ноги, чтобы не оступиться в черную воду на дне канала.

Беглецы, попав из отвесного канала в горизонтальный, более просторный, постепенно свыклись с темнотой. Здесь они могли стоять не нагибаясь.

В бетонных сырых сводах канала из его ответвлений струйками стекала вода.

— Все спустились? — спросил Журженко. — Зубарь, сделайте проверку...

При свете бегущих лучей фонарика Зубарь считал беглецов, узнавая знакомые лица:

— Один, два, три, четыре... двадцать два... Двадцать два, товарищ капитан! — доложил замыкающий Зубарь. — Наша группа вся здесь, ну, а остальные, кто полз за нами, побежали кто куда. Пусть подфартит им!

Утирая пот с лица, Иван Тихонович облегченно вздохнул.

— Спасибо, товарищи! — Он пожимает руку Садаклию, Голубу.

— Нема за що, — говорит Голуб. — Вы, Иван Тихонович, принимайте всех пока под свою опеку, а мы с товарищем Садаклием поглядим, какая погода наверху. Ждите нас здесь...

Вдвоем с Садаклием они полезли вверх по отвесному колодцу и, добравшись до подвала полуразрушенного дома, прислушались. Сквозь щели в двери подвала заполз сюда, к открытому люку канала, лучик прожектора.

— Пока не заметили, — шепнул Голуб Садаклию. — Остальные хлопцы уже, наверное, за Стрыйским парком. А теперь давайте гостинцы для полицаев на всякий случай поставим.

Они быстро окружили люк кольцом противотанковых мин, которые удалось схоронить от немцев при отступлении из города Красной Армии, и засыпали эти гостинцы соломой.

ПОГОНЯ

Вдруг тревожно завывла сирена. Прожекторы пересекли вершины горы Вроновских быстрыми лучами. Они выхватывали из темноты то побитый снарядами осколками кусок стены почтамта, то колокольную, уцелевшую при недавних бомбардировках семинарской церкви Святого Духа, то взгорья Стрыйского парка, куда устремилось большинство беглецов.

Садаклий спустился вниз первым. Озаряемый отсветами прожекторов, Голуб проворно закрепил на ступеньках уходящей вниз лестницы портативные фугасы, осторожно спустился за Садаклием вниз, опустил крышку люка, поправил запалы и привязал идущие от взрывных механизмов проволоочки к скобе под нижним донцем крышки люка. Теперь, если кто-нибудь снаружи захочет поднять крышку люка, он натянет проволоочки, ведущие к фугасам.

Догнав Садаклия уже внизу, Голуб радостно доложил:

— Пробочка будь здоров! — И, обращаясь к военнопленным, выстроившимся как на поверке на узеньком тротуаре под стенами канала, добавил: — А теперь, хлопцы, придется помокнуть, но зато будем там, где никакой сатана не отыщет.

В XVIII веке пояс оборонных укреплений с каменными стенами, круглыми сторожевыми башнями, земля-



ными валами и арсеналами охранял Львов вокруг Сред-
местья. В ту пору река Полтва протекала по городу и слу-
жила защитой от вражеских нашествий. Но город раз-
растался; реку замуровали, заковали в бетон и скрыли от
людских глаз под землей.

Начинаясь от лесопарка Погулянка, возле окраинной
улички Радость, на юго-востоке Львова, эта маленькая
речушка протекает всего несколько сот метров открыто,
затем у обрывистого парка Иордан переходит в водный
бассейн «Железная вода» и уже дальше продолжает свое
течение через весь город в железобетонном тоннеле, выхо-
дя наружу в предместье Замарстинов, за северными квар-
талами города.

Осенью 1944 года, напялив брезентовую куртку, надев
резиновые сапоги и непромокаемую шляпу наподобие ры-
бачьих винцерад, я сам прошел подо Львовом от Замар-

стинова до Погулянки. Фонарем «Даймон», бросающим сильный луч света на добрых пятьдесят метров вперед, вооруженный «вальтером», зная, что на той стороне города, на опушке Погулянки, меня ждут друзья, я все же чувствовал себя в подземном Львове весьма и весьма уютно. Даже самые отчаянные полицейские панской Польши не любили блуждать по каналам Львова в поисках уголовных преступников и революционеров-подпольщиков, которые, подобно Панасу Голубу, не раз использовали подземные лабиринты Львова для того, чтобы скрываться от преследований. Можно себе представить, каково же было измученным узникам Сталага-325, полураздетым, полуобутым, путешествовать по широко разветвленным каналам-коллекторам!

Им пришлось преодолевать водопады, бьющие из перечных коллекторов, пролезать под каскадами грязной воды и нечистот по ржавым железным лестницам вверх и вниз, лежа протискиваться вслед за Голубом по осклизлым круглым трубам к более широким подземным туннелям, где шумят, закипают грязной пеной многочисленные водные потоки, устремляющиеся к единому руслу Полтвы.

Погружаясь до пояса в зловонную и густую грязь, беглецы из Цитадели преодолевали препятствия. Остатки промокшей до нитки одежды прилипали к их худым, истощенным телам, но каждый беглец, стиснув зубы, отчаянно ругаясь вслух, знал: даже сейчас, во время этого ужасного пути, здесь было больше света и надежды, чем там, наверху, под звездным, но таким враждебным им небом.

Сирены долго выли над сонным Львовом в эту страшную, темную ночь. В домах на Майенштрассе, на улице Червинского, на Вулецкой, где главным образом жили гестаповцы и чины СД — Зондердинста, загорались огни в окнах, хлопали двери. Застегивая пояса с тяжелыми пистолетами, обитатели люксовских квартир выбегали на улицу. Они вскакивали в машины, на мотоциклы и мчались организовывать погоню за бежавшими.

Комиссариаты украинской полиции на Чистой, Казимирштрассе, Винерштрассе, Остштрассе, Грюнештрассе, Зигфридштрассе, Жолкевскаштрассе, на предместье Збоиска опустели. В них остались только дежурные да часовые, засевшие у пулеметов в железобетонных круглых

будках у входа. Полицаи, как послушные псы, бросились к городским рогаткам, надеясь там перехватить беглецов. Опустело сразу и немецко-итальянское казино в доме пять по улице Коперника под Цитаделью, где офицеры гестапо проводили ночи. Хозяин этого казино Адольф Джиентини поспешно опустил шторы и закрыл изнутри на тяжелый засов дверь заведения.

Но ни один из видных чинов гестапо: ни штурмбанфюрер Дитц, ни Питер Крауз, ни гауптштурмфюрер СС Кнорр, ни Энгель, ни хозяин львовского гетто Гейнц Гжимек, ни гауптштурмфюрер СС Эрнст Киршке, ни ляйтер управления полиции доктор Ульрих — никто не мог предположить, что основная группа скрывается так близко.

...Когда сирены впервые завывали на горе Вроновских, Каблак и произведенный в сотники, снова всплывший на поверхность его друг Зенон Верхола коротали ночь в команде украинской полиции в доме номер четыре на Паркштрассе за игрой в карты. Услышав сигнал тревоги, они вместе с полицейским нарядом бросились в Цитадель. Гора Вроновских была недалеко, и вскоре полицаи устремились вслед за Каблаком на Пелчинскую, куда бежали пленные. Одна из овчарок, которую держал на поводке Верхола, взяв след, потянула направо.

— Она что-то чувствует, Дмитро! — крикнул Верхола. — Пусть все бегут до Стрыйского парка, а мы давай с хлопцами сюда! — И он показал свободной рукой в сторону улицы Богуславского.

В эту самую минуту Каблак задержался. Лучик его фонарика уткнулся в лежащие на тротуаре раскрытые ножницы. Каблак нагнулся, поднял их, соединил лезвия и... поразился невероятной догадке: Краковский базар. Иванна в монашеском одеянии опускает в портфель тяжелые ножницы. Золотое кольцо все еще лежало в боковом кармане мундира Каблака.

Какой же все-таки он дурень, что, решив потихоньку присвоить себе это золотое кольцо, не дал сразу ход делу со странными покупками, которые сделала невеста Гереты!

Оstromордая поджарая овчарка все сильнее тянула Верхола к полуразрушенному дому на улице Богуславского. Держа в одной руке ножницы, а в другой вороненый «вальтер», Дмитро Каблак едва поспевал за сотником.

— Хлопцы! Сюда! — радостно закричал Верхо-

ла, задерживая собаку и ногой раскрывая ворота подвала.

Один за другим разгоряченные полицаи, пригибая головы в черных «мазепинках», ввалились по выщербленным каменным ступенькам в подвал вслед за Верхолой, и внезапно два страшных взрыва потрясли темные своды.

Отсвет минных взрывов озарил лицо опоздавшего Каблака. Он заслонил лицо от свистящих осколков тяжелыми и блестящими ножницами, перекрещенными, как те самые голубые лучи прожекторов, что металась над его головой по низкому и мрачному львовскому небу.

Послышался отзвук еще одного взрыва. Должно быть, какой-то из ошалевших полицейских, метнувшись в сторону, наступил еще на один гостинец Голуба.

Решительно не понимая, что же происходит внизу, испуганный Каблак, не глядя, выпустил туда вниз всю обойму из вороненого «вальтера». Потом, видимо что-то соображив, завопил:

— Там засада! Туда не ходить...

Разрывом мины Зенон Верхола был убит наповал. Два полиция и овчарка тяжело ранены. Одного полиция контузило. Те же, кто после первого взрыва упали, уцелели. Пока не пришли вызванные по телефону армейские саперы, никто из украинских полицаяев не решился спуститься в подвал. Они только оцепили полуразрушенный дом, держась от него на почтительном отдалении.

ПРОЩАЙ, МОНАСТЫРЬ!

Каблак же с тремя уцелевшими от взрывов подчиненными помчался темными улицами Львова к монастырю сестер василианок. Надо было как можно скорее заглаживать свой промах. Подбежав к монастырю, Каблак вынул из пистолета магазинку с патронами и изо всей силы заколотил прикладом «вальтера» по старинной дубовой двери.

Этот стук и визгливый, захлебывающийся лай собак разбудил и тех монахинь, кто спал крепко и не слышал звука сирен, воющих на горе Вроновских. Накинув на себя жесткие коломьянковые простыни, они подбегали к окнам, стараясь разглядеть, что за шум на дворе.

За решеткой одного из окон, освещаемого перебежками

голубых прожекторов, притаилась Иванна, напряженно вслушиваясь.

Привратница разбудила игуменью. Пока та одевалась и сходила вниз, Ставничая открыла окно своей кельи на втором этаже.

Сбежав вниз, игуменья осторожно прижала свое полное лицо к медному глазку-«юдашу», силясь увидеть, что происходит на улице.

— Кто там? Что надо? — спросила она властно.

— Мать игуменья, то я! — узнав мать Веру по голосу, закричал Каблак. — То я, Каблак, поручик полиции! — И как бы в подтверждение своих слов он осветил себе потное лицо лучом фонарика: — То свои люди.

— Каблак не Каблак — не пущу! — крикнула игуменья в глазок. — В такую пору — и в женский монастырь? Вы что, сказились?

— Мы не с обыском, нет, пустите! — настаивал Каблак.

— Бойтесь бога! Не пущу. В такое время? — отказала игуменья.

— Нам только одна особа у вас нужна. Всего одна. Мы обыска робить не будемо, — умолял настоятельницу поручик.

— Кто вам нужен, скажите ясно? — резко спросила мать Вера.

Каблак посмотрел на темный фасад монастырского здания, оглянулся на соседние кусты боярышника и, приклонив губы к открытому глазку-«юдашу», прошипел:

— Иванна Ставничая!

Шепот долетел до Иванны, прильнувшей к окну. Она сразу же метнулась в глубь кельи, схватила маленький чемоданчик и по винтовой железной лестнице тихо спустилась вниз, в трапезную. Ее обдало запахами горелого подсолнечного масла и кислого хлебного кваса. Через кухню черным ходом она проникла в монастырский сад и, прошелестев там кустами, подбежала к монастырской стене. Несколько раз подпрыгивала она, пытаясь схватиться за черепичный гребень стены, но безуспешно. Рядом росла кривая груша. Иванна влезла на нее и с отвесной ветки забралась на стену. Она швырнула вниз чемоданчик и, подобрав ноги, спрыгнула вниз.

Сливаясь в черной сутане с ночным мраком, она неслышно помчалась по улицам Львова на Кульпарков.

Подбежав к домику, где жила Цимбалистая, Иванна дробно застучала в окно. Спустя некоторое время окно открылось и заспанная Юлька тихо окликнула:

— Кто то?

— Спасай, Юльцю! — оглядываясь, шепнула Иванна.

Цимбалистая раздвинула вазоны с фикусами и, протянув подруге руку, втащила ее в комнату.

Быстро, торопливо, запинаясь и все еще дрожа от пережитого, Ставничая сбросила сутану и надела платье с горошинами, хранившееся у Цимбалистой.

— В монастырь мне больше возврата нет! — сказала Иванна, приводя в порядок волнистые густые волосы. — Кончится полицейский час, ты проводишь меня на вокзал и купишь билет. Поеду до татуса. Добре?

— Ничего более умного не придумала? — возмутилась Юля. — Я тебе куплю билет, а тебя с этим самым билетом зацапают в вагоне, раньше чем поезд до Грудека Ягеллонского дойдет. Ваша парафия уже утром будет обставлена полициями.

— Что же мне делать? — растерянно спросила Иванна, повязывая голову кашемировым платочком.

— Придумаем, — сказала загадочно Юля. — Свет не без добрых людей...

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ПОД СОБОРОМ

В 1920 году, когда полки Первой Конной армии Семена Буденного подходили ко Львову, достигнув уже села Задворье, расположенного в двадцати пяти верстах от окраин старинного города, слесарю Голубу едва исполнилось 19 лет. Всем сердцем он ждал Красную Армию и даже припрятал на чердаке алый флажок, чтобы на улицах Знесенья встретить первых советских бойцов. Правда, наступление Красной Армии на Львов было приостановлено, но все же оно всколыхнуло трудовое население города.

В ноябре 1921 года по Львову пронеслась весть: в помещении школы, расположенной на территории собора святого Юра, полиция, руководимая известным мастером полицейского сыска Казимиром Иваховым, накрыла группу видных коммунистов. Они собрались на первую конференцию Коммунистической партии Западной Украины.

«Вот это номер! — рассуждали рабочие газового завода. — Собраться под самым носом у владыки! В самом гнезде катабасов говорить о Советской власти и коммунизме! Ну и смелые, отчаянные хлопцы!»

Тридцать девять храбрецов томились тогда в ожидании суда в страшной тюрьме «Бриgidки», перестроенной из монастыря святой Бриgidы. Следствие продолжалось год, а когда начался суд, всем стало ясно, что «отчаянные хлопцы», не страшась ни угроз судей, ни провокаций Ивахова и его агентов, не сломлены и готовы к борьбе. Это потрясло многих рабочих Львова, в том числе и Голуба. Особенно поразила речь поляка Стефана Круликовского — «Циприяна». Круликовский на вопрос председателя трибунала, признается ли он в своей вине, ответил:

— Законы, по которым вы меня судите, уже устарели и являются антидемократическими. Вы все говорите, что являетесь демократами, а я утверждаю, что ваши принципы предельно реакционны. Я обязан заявить, что стою перед судом в стране, где большинство населения составляют украинцы. И если я в этом суде говорю по-польски, то только потому, что не знаю украинского языка и не могу продемонстрировать его права здесь...

Смелая речь борца «за нашу и вашу волюность», как свежий ветер, ворвалась на улицы Львова, где еще так недавно по наущению чужих сил сражались между собою поляки и украинцы, бессмысленно проливая кровь братских народов. Открыла она глаза и Голубу.

Голуб вспомнил о святоюрском процессе спустя двадцать лет, обдумывая вместе с Садаклием, Щирбой, Цимбалистой и другими подпольщиками, где укрыть от гестапо беглецов из Цитадели.

«А что, если использовать опыт истории? Гестапо отлично известна ненависть Шептицкого к большевикам. Вряд ли кто из гестаповцев станет тревожить покой седовласого митрополита. Не только генерал-губернатор Ганс Франк или львовский губернатор Отто Вехтер, но и многие другие влиятельные немцы не допустят ущемления сакновного защитника интересов гитлеровской Германии».

Шептицкий в свое время приказал замуровать все входы в ненужные, пустующие подвалы. Но у Панаса Голуба было преимущество по сравнению с обитателями капитула: он и его рабочие знали многие лазы в замурованные

подвалы. И Голуб вместе с Садаклием часть запасов, оставленных для работы в подполье, — продукты, оружие и перевязочные материалы — опустили под землю задолго до побега из Сталага.

В большом, просторном подземелье под собором святого Юра снова сталолюдно. Яркие карбидные лампы давали достаточно света. Ящики с оружием и продуктами были расставлены под стенами подземелья. Вдоль стен свисали ржавые кольца и цепи: должно быть, когда-то здесь была монастырская тюрьма или судилище инквизиции, занесенной во Львов католическим орденом отцов Тринитаров. Чтобы сократить длинный окружной путь по грязным коллекторам-каналам, Голуб и его друзья с помощью садовника митрополита Вислоухого пробили дополнительный выход из подземелья в густой, заросший колючим, одичавшим крыжовником, запущенный участок монастырского сада. Пробираясь сквозь эту колючую чащобу, вряд ли можно было обнаружить под кучей поломанных тачек и носилок вход в подземелье. Вот этим-то ходом на следующий же вечер после побега пленников Цитадели Цимбалистая и Голуб привели под собор святого Юра Иванну.

Садовник Вислоухий, пожилой, седой старик с ушами, никак не соответствовавшими его заячьей фамилии, был с двадцатых годов связан с революционным подпольем. Молчаливый старик, наблюдая сытую монастырскую жизнь, хорошо зная все связи митрополита, все больше презирал церковников с их ханжеством, приторным благолепием, лживой любовью к ближнему. Он охотно вызвался помогать Голубу, дал Садаклию два ключа от запасных ворот монастырского сада и помог установить в саду тревожную сигнализацию. Если бы кто посторонний попытался проникнуть в подземелье через сад, у беглецов и подпольщиков было бы достаточно времени, чтобы преградить минами и другими средствами путь преследователям, покинуть убежище и уйти в каналы города.

Раненых уложили на соломе, разостланной на каменном полу подземелья. Юля Цимбалистая и Иванна перевязали их раны свежими бинтами.

— Попить, сестрица, — просили истощенные донельзя раненые.

— Потерпите немножко, — сказала Юля, прислушиваясь к визгу ручного сверла в соседнем отсеке.

ЕСТЬ ВОДА!

Она прошла туда и увидела, как пограничник Банелин, держа над головой в вытянутых руках ручную дрель, сверлит проходящую в каменной кладке чугунную трубу.

— Скоро, товарищи? — спросила Юля. — Больным необходима вода: все, что принесли в флягах, выпито.

— Давай-ка я посверлю, — сказал его друг Бойко, приподнимаясь на цыпочки. В его руках сверло завертелось быстрее.

— А что, если это газовая труба? — сказал следящий за движениями дрели беглец в стеганом ватнике с надписью на спине: «Совет унион», должно быть побывавший до Цитадели в других лагерях. — Задушимся газом, как крысы...

— Не бойся, — успокоил его Банелин. — Голуб знает каждую трубу, каждый закуток. Тут у них, говорил он, во времена пилсудчины одно время подпольная типография стояла. — Обращаясь к Юльке, он спросил: — Подружка-то ваша небось перепугалась вчера, когда арестовывать ее пришли?

— Вчера перепугалась, а сегодня отошла, — сказала Юлька.

— Вода! — закричал Бойко. — Вода!

Он выхватил из трубы сверло, и оттуда, искрясь в свете карбидной лампы, вырвался тонкий, но сильный фонтанчик свежей и чистой воды.

Все, кто в состоянии был передвигаться, схватили пустые котелки, консервные банки, бутылки и по очереди подставляли их навстречу фонтанчику.

Зубарь в это время сидел с винтовкой у пролома, ведущего в монастырский сад. Банелин радостно сообщил ему:

— Воду открыли! Идите, старший лейтенант, попейте, а я подежурю...

Спустя несколько часов в подземелье шумно гудели примусы. На них подогревалась в ведрах и банках вода для раненых.

Когда Голуб вернулся с воли, Бойко торжественно и деловито протянул ему, как бесценный дар, консервную банку, полную воды. Голуб, утомленный блужданиями по городу, жадно выпил воду. Капли воды стекали ему на

грудь, на брезентовые шаровары, заправленные в простые рабочие сапоги.

— Знатная вода! — похвалил Голуб. — Молодцы хлопцы, что ее добыли. Теперь мы заживем. Харчей в достатке, огонь есть, вода тоже, чего еще человеку надо? Однако следует пробурить воду еще в другом месте.

— А хлопцы и пошли в последний отсек, — сказал бригадиру Бойко. — Там труба еще ниже проходит. Веселее дело пойдет.

Из подземного зала, где расположили на соломе раненых, донеслась тихая мелодия. Это Эмиль Леже пел песенку о своем сыне. Слушали его раненые, слушал капитан Журженко, осторожно массируя больную ногу — она все больше ныла от сырости подземелья.

Громко взял последний аккорд Эмиль Леже, перевернул на лету банджо и протянул ее с поклоном Иванне:

— Прошу, пани!

— Да я не умею, спасибо, — застеснялась Иванна.

— Умеет, умеет, — выдала подругу Цимбалистая.

— Спойте, Иванна, — попросил Журженко, — песня лучше всяких лекарств, а петь вы умеете. Я однажды подслушал в Тулиголовах, как вы пели возле церкви.

— Я веселых песен не знаю, — отнекивалась Ставничая. — Ну да ладно, спою вам вот эту. — И, настроив банджо, похожую на гитарку, Иванна запела:

Бувай здоров, коханий мій,
Мені пора в дорогу.
Осиплються квітки всіх мрій.
Без тебе, молодого.

Капитан с грустью смотрел на Иванну. Почувствовав его пристальный взгляд, она сбилась было, но потом, вспомнив нужные слова, продолжала:

І в глибину твоїх очей
Я більше вже не гляну,
Далеко від твоїх грудей
На чужині зів'яну...

— Хорошая песня! — мечтательно сказал Журженко, когда Иванна возвратила французу банджо и кончила петь.

— Песня эта хорошая, а вот какими шляхами мы выберемся отсюда? — проронил Зубарь.

— Нам бы только раны зализать, дорогой, — успокоил его Журженко, — а тогда такой компот устроим немцам, держись!

— А товарища Садаклия все нет и нет! — с тревогой сказал Банелин. — Не стряслось ли с ним чего? Хотя постоите, кто-то, кажется, пришел!

Он встал и пошел к выходу. Через минуту вернулся вместе с Садаклием, одетым в штатский костюм. В серой фетровой шляпе, надвинутой на глаза, его трудно было узнать.

— На похоронах задержался, — сказал Садаклий. — Пришлось поплакать немного!

— Кого хоронили? — спросил Журженко.

— Тех полицаев, что подорвались на подарках Панаса Степановича в подвале на улице Богуславского.

— Правда, Тимофей Романович? — спросил Голуб.

— Один на месте «угас» — сотник полиции Зенон Верхола. А двое в больнице богу душу отдали. Катабасов, катабасов пришлось отпевать их на Лычаковское кладбище — туча! Как воронье слетелось. На одного убитого по четыре попа, не меньше. Сам архиепископ речь говорил.

— Архиепископ? — удивился Банелин.

Голуб посмотрел на него умными, с хитринкой глазами и сказал:

— Ты, наверное, Банелин, на своем веку там, в Сибири, еще ни одного живого архиепископа не видел. А я-то их здесь насмотрелся. — Голуб показал пальцем на потолок подземелья: — Там вместе с архиепископом Иосифом Слипым митрополиту помогают управлять попами несколько епископов: Иван Бучко, Никита Будка, Николай Чарнецкий, в Перемышле — Иосифат Коцыловский и Григорий Лакота, в Станиславе — Григорий Хомышин и Иван Лятишевский...

— Ого, сколько их! — протянул Банелин.

— Сила! Черная, страшная сила, — сказал Садаклий. — Высший начсостав, подручные митрополита. Для них убитые полицаи — большая потеря.

— Недаром наша пословица говорит: «Полицей стреляет, а бог пули носит», — сказал Голуб.

— Как же они объясняли эту потерю? — спросил Журженко.

— Как объясняли? — сказал Садаклий. — Говорили: погибли самые лучшие, самые отважные от рук жидов и коммунистов. Так, впрочем, было написано на венке митрополита. Повсюду по городу объявления расклеены — «гончие листы»: кто укажет, где беглецы скрываются, сразу на руку получает пять литров водки, продукты разные и двадцать тысяч марок наличными...

— Дорого нас оценили! — засмеялся Банелин.

«РОТА ПРИСЯГИ»

Митрополит Шептицкий, принимавший в розовой гостиной, залитой солнечным светом, штурмбанфюрера Дитца, и не подозревал, конечно, что в это же самое время внизу его гостеприимством пользуются совсем другие люди.

Хозяин и Дитц расположились у резного столика с инкрустациями, на котором высилась оплетенная соломкой бутылка французского коньяка «мартель» и в маленьких чашечках дымился черный кофе.

— События эти меня очень огорчили, господин Дитц, — играя коньячной рюмкой, говорил Шептицкий. — Наши цели едины — вы это прекрасно знаете. Стоило ли ночным вторжением полиции в женский монастырь вызывать в народе волнение? Не проще ли было прежде всего сообщить мне об этом?

— Действия поручика Каблака не были предварительно согласованы со мной, — сухо заметил Дитц.

— Вот видите! — оживился митрополит. — А девушка испугалась и убежала. Кому охота попадать в руки полиции? Я убежден, что она ни в чем не виновата. Она моя крестница...

— Мне горько разочаровывать вашу эксцелленцию, — учтиво сказал Дитц, — но в интересах дела я вынужден сделать это. — Он раскрыл бумажник и протянул митрополиту обручальное кольцо. — Скажите, вам оно знакомо?

Шептицкий повертел кольцо в руках, прочел знакомую надпись на его внутренней стороне и сказал с удивлением:

— Знакомо, знакомо. Даже очень. Но каким образом оно попало к вам?..

«Вот здесь-то и наступил самый решительный момент в моей жизни, — писал в своей тетради Ставничий. — Мне приказано было явиться в капитул немедленно. Я никак не мог связать этот вызов в консисторию с судьбой дочери. Мне даже казалось вначале, что митрополит настолько благосклонен к моей особе и несчастью, которое постигло мою церковь в первый час войны, что захотел перевести меня из Тулиголов во Львов и сделать членом капитула».

Наивный, доверчивый отец Теодозий! Мог ли он знать, что вызов его в консисторию был прямым следствием беседы Дитца с митрополитом.

Прямо с вокзала он спокойно отправился в палаты митрополита. Однако на этот раз ему пришлось долго ждать вызова. Отец Теодозий от корки до корки прочел последний номер газеты «Львівські Вісти», испещренный траурными объявлениями об убитых полицаях и сотнике Верховле, полистал «Лембергер Цейтунг» и берлинскую «Фелькишер Беобахтер». Он потянулся было к полке, чтобы взять оттуда номер издающегося василианами в местечке Жовква журнала «Мисионар», но тут распахнулась дверь и рослый келейник Арсений сказал:

— Отец Теодозий! Председатель консистории и генеральные викарии просят вас пожаловать на заседание!

«На заседание?» — с тревогой подумал Ставничий, поднимаясь и одергивая сутану. — С какой это стати на заседание?» Ему думалось, с ним побеседует митрополит или кто-нибудь из доверенных советников консистории этого штаба греко-католической церкви Западной Украины. А дело, видимо, гораздо серьезнее.

Он окончательно убедился в этом, входя в зал консистории, заседавшей в полном сборе. Правда, на председательском месте сидел не митрополит, а замещающий его генеральный викарый, епископ Иван Бучко, румяный иерарх, с лицом, на первый взгляд не предвещающим беды.

Рядом сидели достойные старейшины: почетные клирошане, канцлер Никола Галант, апостольский протонотарий митрат Кадочный и генеральный викарый военного сектора, лысоватый доктор богословия Василий Лаба, тот, что возглавил вербовку украинской молодежи в дивизию СС «Галиция», напутствуя ее поскорее «взять безбожную Москву».

Соборных клирошан-старейшин, священников Романа

Лободича, Емельяна Горчинского, Стефана Рудя, Николая Хмильовского дополняли на заседании двенадцать титулярных клирошан: канцлеры, шамбеляны, профессора духовной академии и протопресвитеры — лучшие из лучших иереи епархии, призванные строго, по древним традициям святой инквизиции, бороться за чистоту веры и поведения священнослужителей.

Ставничий увидел на почетном месте даже главного схоластика капитула отца Алексия Пясецкого, который некогда был домашним прелатом самого папы римского Бенедикта XV. Из-за преклонных лет своих он вызывался на заседания консистории только в самых важных, исключительных случаях. Возле него, нашептывая старцу что-то на ухо, сидел другой бывший домашний прелат его святейшества, но уже следующего папы римского, Пия XI, просинодальный судья апелляционного трибунала отец Тит Войнаровский, такой же дряхлый, родившийся еще в середине прошлого века, очень строгий иерарх.

Когда отец Теодозий остановился неподалеку от аналоя перед раскрытым Евангелием, взгляды всех сидящих сосредоточились на нем. Невысокий щупленький старичок, мнущий нервно в руках свою соломенную шляпу, был очень жалок перед лицом этой элиты священнослужителей митрополии. Отец Теодозий все еще не догадывался, для чего вызвали его.

Епископ Иван Бучко поднялся со своего места и, поправляя бриллиантовую панагию, висящую на его груди, откашлявшись, сказал:

— Отец Теодозий...

Из окна донеслись звуки маршевой гитлеровской песни.

Епископ Бучко недовольно поморщился.

— Закройте окна, Арсений,— сказал он келейнику.— И доложите его эксцеленции, что отец Теодозий Ставничий прибыл на заседание консистории.

Келейник поспешно закрыл окна и тихо удалился, легко прикрывая за собою тяжелую дубовую дверь.

— Отец Теодозий,— продолжил торжественно епископ Бучко,— перед началом судебного разбирательства извольте произнести «роту присяги»...

— Судебного? — протянул изумленный священник.— Меня собираются судить?.. За что?

— Все будет зависеть от вашей искренности,— отрезал Бучко.— Выполняйте установленный обряд!

Взглянув на каменные лица участников трибунала, отец Теодозий подошел к аналою, на котором было водружено старое Евангелие в кожаном тисненном переплете. Сотворив крестное знамение, глухим, дрожащим голосом он пробормотал:

— Я, иерей Теодозий Ставничий...

Ветер снова распахнул окно, и удаляющаяся дробь барабана опять ворвалась в зал. Николай Хмильовский хотел было броситься к окну, но епископ недовольным движением руки остановил его.

— Я, иерей Теодозий Ставничий,— продолжал после минутной заминки священник,— присягаю господу всемогущему, в троице святой единому, что в разбираемом деле буду говорить чистую правду, ничего к ней не прибавляя и ничего не отнимая. Так помоги мне, боже, и это святое Евангелие...

Под далекую военную дробь гитлеровского барабана он возложил свои морщинистые руки на переплет Евангелия и перекрестился. Никогда не думал он, что ему, как провинившемуся школьнику, придется публично произносить слова таинственного обряда, сохранившегося в католической церкви еще со времен священной инквизиции, с той самой поры, когда рубили во Львове головы еретикам первые инквизиторы. Заученные еще в семинарии слова «роты присяги» Ставничий никогда не применял по отношению к самому себе, и сейчас они прозвучали как признание в большой и неведомой ему вине.

Он наклонился, поцеловал Евангелие, и его седые волосы упали на тисненый золоченый переплет...

— Хорошо, отец Теодозий,— сказал Бучко.— Итак, слова «роты присяги», которые мы услышали от вас сейчас, обязывают вас говорить только правду... Как вы думаете, отец Теодозий, обязательны ли еще для вас последние напутствия святейшего отца нашего папы римского Пия XII о задачах католического действия?

— Конечно... обязательны,— чувствуя, что его затягивают в капкан, проронил Ставничий.

— А что говорил нам всем святейший отец о «раздвоении совести»? — ласково и вместе с тем не без ехидства спросил Бучко.

— Святейший отец предостерегал нас... против таких явлений, когда бывают люди с одной совестью для личной жизни... и с другой совестью в публичных выступлениях...

— Возможны подобные явления в нашей пастырской среде? — резко перебил священника Василий Лаба.

Теряясь в догадках, все еще не понимая, к чему ведет допрос, отец Теодозий сказал неуверенно:

— Возможны, но нежелательны!

— Не могли бы вы привести точные примеры подобных нежелательных явлений из жизни собственного деканата? — спросил все так же доброжелательно епископ Бучко.

— Простите, я не понимаю! — растерянно сказал Ставничий.

— Где ваша дочь, отец Теодозий? — повышая сразу голос, резко спросил Иван Бучко.

Ставничий растерянно оглянулся и сказал:

— По совету его эксцелленции я оставил...

— Его эксцелленция здесь ни при чем! — выкрикнул Бучко. — И вы его сюда не приплетайте. Отвечайте прямо: где ваша дочь?

— Она пребывала в монастыре игуменьи Веры, но после того, как за ней по недоразумению ночью пришли полиция, испугавшись, бежала.

— А почему же она бежала? — спросил Лаба. — Очевидно, чувствовала какую-то вину перед немецкими властями? Не так ли?

— Этого я уж не знаю, — разводя руками, сказал Ставничий. — Но думаю, что все это чистейшее недоразумение.

— Вы думаете одно, а факты говорят другое! — сказал Бучко. — Ваша дочь, дочь священника, пастыря Христова, связалась с безбожниками, которые в свое время жестоко преследовали нашу церковь. И не только связалась, но и деянием своим помогла этим антихристам уйти из-под стражи. Вот что сделала ваша дочь, отец Теодозий! — И епископ обвел всех членов консистории гневным взглядом.

— Я понятия не имею, — упавшим голосом сказал Ставничий.

— Где сейчас ваша Иванна? — спросил Кадочный.

— Она... Я не знаю точно... Я получил от нее письмо... — упавшим голосом пробормотал Ставничий.

— Что она пишет? Только говорите правду! — визгливо выкрикнул Бучко и потер оплывший глаз.

— Она пишет... несколько загадочно, что находится у хороших людей... Она пишет, что, поскольку ей угрожает полиция, лучше ей на время пребывать в неизвестности. Просит не беспокоиться о ее судьбе...

— Ясно всем? — обвсдя взглядом собравшихся, торжественно сказал Бучко. — Эти хорошие люди превращали храмы божии в колхозные конюшни, бражничали в них, как в последней трактирии, поминая имя господа бога нашего всуе, а отец Теодозий послал теперь свое чадо к этим безбожникам на воспитание!

— Ваше преосвященство... Объясните, ради бога, — взмолился Ставничий.

— Вы должны нам объяснить... вы... понимаете? — закричал Бучко. — Объяснить, как могло случиться, что единственная дочь пастыря божьего, призванного воспитывать прихожан в христианском смирении, выскользнула из-под его влияния и попала к нечестивцам, хулящим бога и святую церковь! Мы вправе только за одно это лишить вас сана... Идите!..

СОВЕТ МИТРОПОЛИТА

Когда растерянный, запуганный криком епископа и тягостной, удручающей обстановкой церковного судилища отец Теодозий вышел в приемную, к нему приблизился келейник Арсений и с показным сочувствием тихо сказал:

— Его эксцеленция, митрополит Андрей, хотел бы вас видеть сейчас...

После визгливого крика епископа Бучко мягкий голос митрополита звучал в ушах сельского священника особенно ласково, задушевно.

— Отец Теодозий, — говорил митрополит, — принимая деканат в Тулиголовах, вы дали мне лично обещание в послушании и верности и высказали безусловную готовность сообщать все сведения о ереси, которая заползет в души прихожан. Вы это помните?

— Помню, ваша эксцеленция! — опустив голову, согласился Ставничий.

— Почему же о ереси, что свила себе гнездо в вашей

собственной семье, я узнаю окольными путями от людей светских, друзей нашей церкви? Почему вы, старый солдат армии Христовой, почти мой ровесник, не пришли ко мне своевременно, не покайтесь? Разве я не смог бы разрешить ваши колебания? Разве я когда-нибудь плохо к вам относился? Были у вас основания чуждаться моего совета?

— Господи! — горячо откликнулся Ставничий.

— Вы понимаете, какую тень бросает вся эта печальная история на вас, на меня — крестного отца вашей дочери, на всю нашу церковь?

— Но ведь я узнал о том, что она убежала из монастыря, когда все это уже свершилось, ваша эксцелленция! — пытался оправдаться священник.

— Хорошо, но почему же она не прибежала к вам, ее отцу, духовному пастырю, почему пренебрегла отцовским домом? Может, вы были в сговоре с ней? — И митрополит пытливо заглянул в глаза священнику.

— Что вы, ваша эксцелленция!

— Дело сейчас не столько в ее побеге, сколько в том, где она находится. И вы, ее отец, обязаны — Христом-богом заклинаю вас! — обязаны вызволить дочь, пока не поздно, из плена этих «хороших» людей. Это позор! Вы понимаете — позор! Дочь такого уважаемого священника, моя крестница... О боже! Роману Герете я уже послал вызов с фронта...

— Спасибо, ваша эксцелленция!

— Вы благодарите меня, говорите спасибо. А сознаете ли вы, что любой другой иерарх на моем месте немедленно бы наложил на вас суспензу — лишил бы вас сана?

— Конечно, сознаю. Ваша доброта...

Митрополит прервал Ставничего:

— Если вы понимаете мою доброту, то сделаете то, что я вас попрошу. Вы обязаны вызвать дочь к себе. Чтобы это было удобнее вам сделать, я поселю вас в монастыре отцов Студитов в Кривчицах.

— С ней ничего дурного не станется, ваша эксцелленция? — осторожно заглядывая в оплывшие глаза митрополита, полускрытые густыми седыми бровями, спросил Ставничий. — С моей Ивановой?

— Именно от этого дурного я и хочу предостеречь ее, пока не поздно! — убежденно сказал митрополит.

— Как же мне поступать дальше? Где мне ее

теперь найти? Я совершенно теряюсь, ваша эксселенция!

— Давайте подумаем вместе! — промолвил Шептицкий, постукивая толстым пальцем по инкрустированной поверхности резного столика. — Бог нам да поможет!

ПОД ЗЕМЛЕЙ СВЕТЛЕЕ

Имя бога поминалось в этот вечер и в подземелье. Журженко, поправив перевязку, которую сделала ему Иванна, проникновенно сказал:

— Спасибо, Иванна. Добрая душа у вас...

— Обычная, христианская душа, — встряхнув волосами, ответила Иванна.

— Неужели без этого прилагательного человек не может быть попросту добр и, не оглядываясь на бога, помогать попавшему в беду?

— Я давно хотела спросить вас, Иван Тихонович, отчего вы не любите нашего бога?

— Хотите начистоту? — сказал Журженко, приподнимаясь на локте. — Не любите — не то слово!

— Ну за что же?

— Я отрицаю вашего бога вообще, Иванна, потому что он учит людей безвольно покоряться злу. И не только Христос, а любой бог, всякий кумир замораживает волю человека. Вы сами вчера слышали рассказ Садаклия. Что происходит сейчас там, наверху, где господствует ваш добрый, всевидящий, призванный облегчать людские страдания бог? Десяток полицаев подводят к открытым могилам тысячи людей. Людей, верующих в бога и надеющихся на его добрую волю! Их заставляют раздеться и лечь ничком на теплые еще тела застреленных. И они ложатся. Без ропота. Без сопротивления.

— На пряжечках поясных-то у эсэсовцев написано: «Готт мит унс!» — «С нами бог!» — откликнулся Зубарь. — Вот и разберитесь теперь, кому этот бог служит — простым смертным или фюреру Гитлеру и его банде?

— Да, правильно! — согласился Журженко. — И десяток полицаев расстреливают их сверху, в упор, пулями в затылок. Почему же они, обреченные, не сопротивляются? Да потому, что до последнего мгновения они уповают на бога! Это бог подвел их к могиле вялыми, напуганными,

уже безразличными ко всему. Скажите, неужели вам не понятно, кто воспитал в людях эту покорность? Религия! Давняя и верная служанка всех угнетателей!

Прерывая взволнованную речь Журженко, обращенную к замолкшей грустной Иванне, в подземелье вбежала заплаканная Юлька Цимбалистая.

— Боже, боже, что там творится! — взволнованно воскликнула она. — В городе — акция. В центре все улицы перекрыты. У кого аусвайс не в порядке, тех сразу грузят на трамвайные платформы и за Лычаков, в песчаные овраги, на смерть. А потом сжигают... У вас под землей света куда больше, чем наверху.

— Успокойся, Юля, — сказал, подходя к Цимбалистой, Зубарь. — Отольются волку овечьи слезы. Все припомним, решительно все! Верхола нашел свою могилу, найдут собачью смерть и другие гитлеровцы!

Юлька разглядела Эмиля Леже и, приходя в себя, сказала:

— Едва добралась к вам, на улицу Калечу, Эмиль. Держите письмо от жены! — Она порылась в корзинке и, доставая оттуда письмо и небольшой пакет, сказала: — Там чистое белье. Ваша жена сперва разрыдалась, а потом выпытывать стала: «Где мой Эмиль? Где?» — «В лесу, говорю, скрывается». — «Я поеду к нему туда!» — «Нельзя, говорю, то далеко, к тому же у вас ребенок. На кого вы его оставите?» Едва уговорила ее не делать глупостей и отпустить меня одну, чтобы «хвост» не потянуть за собой.

— Мерси, мадэмуазель Жюли. Гран мерси, — сказал Леже и, принимая пакет с письмом, поцеловал руку Цимбалистой, вызвав неудовольствие Зубаря.

— И для тебя письмо есть, — кивая в сторону Иванны, сообщила Юля.

— От кого?

— Татусь твой был у меня. Все допытывался, где ты. А я ему: «Знать ничего не знаю! Решительно ничего не знаю! Как заточили вы ее в тот монастырь, больше, говорю, Иванну не видела». Тогда отец Теодозий написал тебе письмо. «Пусть, — сказал он, — лежит, на тот случай, если Иванна объявится и зайдет». — «Пусть лежит», — согласилась я.

— Татусь сейчас в городе? — спросила Иванна.

— И долго еще будет в городе. Он приехал лечить гла-

за, поселился у монахов Студитов в Кривчицах, — сказала Юля. — Митрополит денег ему дал на лечение... Держи письмо.

Порывистыми движениями Ставничая разорвала конверт и поднесла листочек к свету карбидной лампы.

Окончив чтение, Иванна растерянно оглянулась. Журженко встретился с ней взглядом.

— Что-нибудь неприятное? — спросил он.

— Бедный татусь! — сказала Иванна и заплакала.

— Ему что-нибудь угрожает? — еще настойчивее спросил Журженко.

— Да вот, послушайте, — сказала Иванна, утирая слезы, — вот что он пишет: «Письмо твое получил. Но где ты, я не знаю, ума не приложу, что думать. Очень тоскую по тебе и хочу действительно верить, что ты у хороших людей. Возможно, через несколько дней я лягу на операцию. Будут снимать катаракту с левого глаза... Как бы мне хотелось перед этим повидать тебя, прижать к сердцу твою родную головку. Ты ведь одна-единственная осталась теперь в моей жизни в это тревожное время. Я живу в пятой келье монастыря Студитов в Кривчицах. Там совершенно безопасно, если ты захочешь увидеть меня без посторонних глаз. Быть может, «хорошие люди» поймут, что значит отцовское чувство, и не помешают тебе увидеть меня перед операцией. Приходи, моя донечка. Жду. Твой татусь»...

Письмо было подсказано отцу Теодозию Шептицким. Ни о какой операции, конечно, и речи быть не могло. Старое бельмо на левом глазу ничего общего с катарактой не имело. Вот к какой дьявольской провокации с «божьей» помощью прибег «крестный» отец Иванны!

При общем молчании обитателей подземелья Иванна сложила письмо и вопросительно посмотрела на капитана.

— Трудное дело! — сказал, качая головой, Зубарь. — Очень трудное! А что, если это полицейская ловушка?

— Полицейская? — воскликнула Иванна, вспыхивая. — Вы не знаете моего отца. Он никогда бы не пошел на такую подлость! Никогда!

— Жаль, нет Садаклия, — сказал Зубарь. — Он бы разобрался.

— Отец Теодозий очень плохо выглядит, — тихо сказала Юля. — Он плакал...

— Я пойду к нему! — решила Иванна.
— Погодите, Иванна, вернется из Ровно Садаклий, тогда посоветуемся, — сказал Журженко.

— Ничего мне не сделается! — успокоила его Иванна. — Я в центре показываться не буду. Доберусь туда околицами.

— Нельзя! — настаивал Журженко.

— Почему это нельзя? Я добровольно пришла к вам, добровольно могу и выйти!

— А я не разрешаю вам! — сказал Журженко, вставая и опираясь на палку.

— Не разрешаете? — возмутилась Иванна. — Тогда... — И, схватив платочек, она бросилась к выходу из подземного зала в туннель.

Прихрамывая побежал за ней Журженко.

— Иванна! — крикнул он. — Иванна! Бойко, не выпускай!

Крик его прокатился далеким эхом в подземелье.

— Ну, что вы хотите? — донесся из темноты голос Ставничей.

Присвечивая фонариком, Журженко подошел к Иванне. Он осветил на минуту ее решительное лицо и, взяв девушку за руку, сказал:

— Не надо! Не делайте глупостей!

— Я знаю, вы мне не доверяете. Вы боитесь, что я приведу сюда немцев.

— Любовь и недоверие не могут уживаться рядом... — криво улыбнувшись, сказал капитан.

— Любовь?.. Что вы сказали? — смутилась Иванна.

— Вы мне очень дороги!.. Не ходите... Иванна, родная, — тихо сказал Журженко.

У входа послышался шум. Постепенно увеличиваясь, в коридоре, ведущем к выходу, появился луч света от фонарика. В темном проходе показался садовник митрополита. В руках он нес девочку лет шести в мокром платье. На голове ребенка виднелись ссадины.

— Ось, маєте ще одну квартирантку! — сказал Вислоухий, заходя в подземный зал и укладывая девочку на солому рядом с ранеными.

Онемев от страха, девочка щурилась от яркого света карбидной лампы, вздрагивала от шума шипящих на полу примусов.

— Откуда ребенок, дядько Петро? — спросил Вислоухого Голуб.

— Я нашел ее в болоте возле Зимней Воды. Иду рано в город, вижу — плачет кто-то на болоте. Акция была на Левандовке. Должно быть, родителей забрали, а она осталась.

— Как зовут тебя, милая? — присев на корточки, спросила Иванна.

Девочка молчала. Ставничая прижала ее к своей груди, погладила по голове и снова спросила:

— Ну, так как тебя зовут, ты что, не можешь говорить?

Девочка почуяла давно забытую материнскую ласку, ее глазенки зажглись, блеснули светом надежды. Звонящим голоском она ответила:

— Фаина!

— Смотри-ка, вот какое славное имя, — оживился Голуб, принимая девочку от Иванны. — Фаина — значит, Фая. А я, Фая, буду твоим крестным отцом и спою тебе. Хочешь песенку?

— Хочу! — сказала девочка, припав к Голубу.

— Знаете что, — вдруг оживился Эмиль, — пусть мадемуазель Жюли отведет Фаину к моей жене. Мой Франсуа — расти, играть вместе?

— Тут, под землей, она, конечно, долго не проживет, — сказал Голуб. — Молоко нужно, воздух. Но и у твоей жены опасно, Эмиль: она и без того под подозрением.

— Пусть пока побудет здесь, — сказал Вислоухий, — а в субботу ко мне приедут родичи из Судовой Вишни, муку привезут. Вот я с ними ее туда обратным ходом отправлю. Там ей будет спокойно.

— Это дело, Петро, — сказал облегченно Голуб.

ТЫСЯЧА БОЧЕК ТИШИНЫ

Один из раненых, военный моряк, плененный немцами в Пинске, Ваня Покидан, попросил однажды Юлю Цимбалистую:

— Вы бы нам почитали чего-нибудь, сестрица. Книжонку какую-нибудь приключенческую. Страсть люблю приключения! А то лежать уже надоело без дела на этой соломе...

Как и многие другие галичане, все советские книги Юлька сожгла вскоре после того, как немцы заняли город. Да, впрочем, если бы и оставались у нее такие книги, то носить их при себе было опасно: даже специальный пропуск со штампом «артц», который получила Юля в числе многих других медицинских работников, дающий ей право хождения по городу и в ночное время, не спас бы ее во время очередной облавы-«лапанки». Но у нее хранился комплект польского журнала «Наоколо свята» за 1926 год. Она принесла в подземелье подшивку журнала и, сидя у карбидовой лампы, прочитала вслух напечатанную в журнале «Тайну тринадцатого форта», переводя с польского на русский. Юлька не предполагала, правда, что вместо благодарности она получит изрядный нагоняй от главного опекуна всех беглецов из львовской Цитадели, скрывающихся в подземных лабиринтах под старинным храмом,— Садаклия. Да и заслуженно, прибавим от себя.

— «Во всей Польше не было крепости, равной по техническому уровню укреплениям Перемышля,— читала Юлька.

Но прошли времена крепостей! Опыт европейской войны показал, что огонь современной артиллерии превращает бетон и железо в пыль, а самой прочной силой на свете остается человеческое мужество.

Перед капитуляцией Перемышля, в 1915 году, австрийцы взорвали почти все форты. Тринадцатый был подорван наполовину. Много лет спустя польское правительство, желая освободить территорию, занятую этими уже бесполезными развалинами, заключило договор на разборку фортов. К работам на форте приступили летом 1923 года. Взрывали один его этаж за другим, добывая железо и сталь, которые согласно договору с одной фирмой шли в пользу предпринимателя. После двух недель работы добрались до самого низа. Руководитель работ увидел там железные двери, которые не были указаны в плане.

Двери сняли и за ними обнаружили лестницу, которая спускалась вниз. По приказу инженера один из рабочих вооружился фонариком и направился к лестнице.

— Смотри, чтобы тебя там какая-нибудь холера не укусила! — пошутил кто-то из товарищей.

— Я сам ее укушу! — весело выкрикнул парень, исчезая в подземелье.

Рабочие принялись за обед.

Вдруг в глубине форта раздался приглушенный вопль. Крик повторился, и был он таким отчаянным, полным такого ужаса, что у рабочих волосы встали дыбом.

Все бросились к дверям подземелья. На ступеньках, недалеко от входа, лежал без сознания парень с искривленным в страшной гримасе лицом. Рука его судорожно сжимала разбитый фонарик. Несчастного вынесли на поверхность и положили на траву.

Когда парень очнулся, из его выкриков можно было разобрать только два слова: «Какой ужас! Какой ужас!» Решили, что он лишился рассудка.

Группа рабочих во главе с инженером спустилась в подземелье. Внизу тянулся длинный коридор. Множество дверей вели в маленькие камеры с низкими сводчатыми потолками и тяжелыми бетонными стенами.

Коридор кончался обширным залом с колодцем. Отсюда расходились еще два маленьких коридора, образуя по отношению к тому, по которому пришла группа, как бы римское «V». Расположение камер здесь было несколько иное.

В страшном беспорядке на стеллажах лежали остатки провианта, множество опорожненных консервных банок, ящики и мешки с заплесневелыми сухарями. Вокруг шныряли крысы величиной с доброго кота...

В следующей камере валялись остатки обмундирования и постельных принадлежностей. Когда вскрыли последние, четвертые двери, рассказывал руководитель работ, перед ним, освещенный отблесками фонарика, на фоне серого бетона, посреди бочек, ящиков и мусора предстал призрак... Страшный, чудовищный: голый скелет, обросший седыми волосами.

Рядом послышался треск взломанных дверей. Гулкое эхо прокатилось по всем коридорам и камерам. Призрак вздрогнул, поднес руки к ушам, скривился от боли и начал ритмично раскачиваться то вправо, то влево, издавая при этом хриплые стоны.

Все как безумные бросились к выходу. Никто не хотел быть последним.

Обследование подземелья показало, что доступ в него был возможен лишь через одни двери. А двери эти были завалены еще в 1915 году, когда австрийская армия сда-

вала русским Перемышль. Во время взрыва там находились два человека, о которых австрийские контрразведчики, по-видимому, забыли. Одна из этих жертв прожила в замурованном подземелье восемь лет и наконец была «спасена».

Кем же были эти люди? Как они жили в этом склепе? Какие муки переживали? Какая судьба постигла того, от которого остался только скелет: истаял ли он, как свеча, или пал жертвой более сильного товарища, а может быть, покончил с собой, не вынеся печальной жизни?

Среди различного хлама и мусора один из рабочих подобрал консервную банку. Из нее выпали нож, спички, карандаш и тетрадь.

Записи на русском языке... Сперва отличный, устоявшийся, четкий почерк интеллигентного человека постепенно переходил в какие-то каракули, временами такие, что их трудно было разобрать. И все же их разобрали:

«Не знаю, сколько уже дней прошло с того неудачного дня, когда мы попали в австрийский плен — я и штабс-капитан Новиков: эти странные условия, в которых мы сейчас живем, лишают нас возможности определять течение времени. Запишу прежде всего то, что произошло, в порядке очереди, последовательно».

После традиционного обыска и ограбления нас бросили в малую камеру подземных катакомб форта. Не прошло и суток (мы два раза получали еду), как произошло что-то такое, чего до сих пор не понимаю: в одну минуту как бы где-то наверху разверзлись молнии. Затряслось и затрепало все наше подземелье... По-видимому, форт начал распадаться. Опрокинутый на холодный бетон, уверенный в неизбежной смерти, я не жалел уже о жизни. Земля застонала, как огромный зверь, и позже долго еще гудела. «Мне очень больно, а люди этого не знают», — мелькнула быстрая мысль, острая и яркая, как разряд молнии.

Долго еще потом раздавались удары грома и чувствовалось дрожание земли, но уже более отдаленное.

...Мы с Новиковым строили различные предположения, начиная от вулканического извержения, землетрясения и кончая бомбардировкой крепости летчиками Антанты... Мучимые голодом и жаждой, мы взломали двери камеры и старались выбраться на свободу или хотя бы напомнить австрийцам о нашем существовании. Все было напрасно!

Следующие входные двери, сделанные из сплошного железа, не поддавались, а крики наши не привели ни к чему. Наконец мы пришли к выводу: самим нам никак не выбраться отсюда. Надо спокойно ждать: должны же вспомнить о нас... Живем только этой надеждой.

Мы рассказывали один другому многие интимные тайны нашей жизни — правдивые и вымышленные, критиковали все прочитанные книжки и все великие деяния мира, играли в самые разнообразные игры, устраивали театральные представления, охотились за крысами, стараясь в этой охоте добиться рекордов, и под конец возненавидели друг друга.

Тоска! Она победила нас, потому что плыла вместе с временем, без конца и края. Нет у нас ни дня, ни ночи... Однообразие впечатлений... Вечная темень и тишина, сладковатый запах, влажные, скользкие стены и консервы...

Угнетающее однообразие времени... минута и месяц ничем не отличаются... пустота... ничтожество.

...Нашли занятие. Новиков пьет до потери сознания, а я работаю у своих часов. Сделал их сам: установил на бочке котел, налил его водой, предварительно пробуравив на дне маленькое отверстие. Подсчитал собственный пульс, принимая каждые семьдесят ударов за минуту. По мере того как понижался уровень воды в котле, обозначал на его боку каждые пятнадцать минут и полные часы. Когда вся вода вылилась, подсчитал черточки и убедился в том, что вся моя операция заняла полтора дня. С этого времени слежу за часами, подслушиваю плеск капелек, наблюдая за уровнем воды, и переливаю ее из бочки в котел. Утешаюсь мыслью, что выполняю хотя и однообразную, но все же имеющую какой-то смысл работу.

...Нас ожидает голодная смерть или помешательство.

...У Новикова не хватило сострадания для меня, потому что не было жалости и для себя: жестью он надрезал себе горло, долго агонизировал, корчась в луже крови. Я закрыл его труп в соседней камере. Остался один.

...Я не переливаю воду... Болел... Столько физических и духовных мучений... Меня трясла лихорадка... Меня грызли крысы. Мучили жажда и видения. В этой безбрежной тоске молил о смерти, потому что не хватало сил у самого вызвать ее... Отчаялся во всем... За что? За что?

Я ничем не нарушаю теперь мою гробовую тишину и

темноту, не переливаю воду в часах, не ем, не пью и не чувствую жажды. Я стал хозяином времени и пространства: проплываю в просторах от звезды к звезде, приказываю чувствам все, что мне хочется, поглощаю все звуки, краски и ароматы мира, изменяю их очертания, погибаю и рождаюсь вновь...»

На этом кончались записи.

После того как Цимбалистая закончила читать, в подземелье под собором святого Юра воцарилось гнетущее молчание. Было слышно только, как стекает вода в ка-
стрюли и шипит карбид в лампе.

— Страшная история! — нарушая это молчание, протянул Покидан. — Восемь лет прожить под землей! Мы здесь совсем недавно, всегда выйти можем, и то на душе мутрно.

— Я служил в Перемышле, в пограничной комендатуре, но ничего не слышал об этом, — отозвался из дальнего угла Банелин. — А ведь сам видел остатки взорванных фортов над Саном.

— Ну, а я не раз слышала об этом от старых людей, — сказала Юля. — Мне рассказывали, что на кладбище Перемышля есть братская могила штабс-капитана Новикова и безымянного автора этого дневника.

— Перемышль долго оборонялся от русской армии? — спросил Покидан.

— Могу вам сказать точно, — послышался из темноты голос Садаклия. Он пришел в подземелье с воли, когда Цимбалистая заканчивала чтение, а чтобы не мешать ей, стоял в подземном коридоре, куда долетал звонкий, взволнованный голос девушки. — Первый раз его окружила в начале войны армия царского генерала Радко-Дмитриева, но взять крепость с ходу не удалось, и русские понесли большие потери. Вторично Перемышль окружила одиннадцатая армия генерала Селиванова в первых числах ноября тысяча девятьсот четырнадцатого года. Перемышль продолжал сопротивляться до последних дней марта тысяча девятьсот пятнадцатого года. Восемнадцатого марта собрался совет обороны крепости и решил попробовать прорваться всем гарнизоном сквозь осадные линии русских войск. Атака началась утром, на следующий день. Воз-

можно, тогда-то, в густом снегопаде, где все перемешалось, австрийцы захватили двух русских офицеров. В ночь на двадцать второе марта были расстреляны последние снаряды и патроны. Взорвали форты, мосты и радиостанции. Отзвуки этих-то взрывов, надо полагать, и слышали брошенные в подземный каземат русские офицеры. Перемышль сдался. Трофеи русские получили огромные: девять генералов, две с половиной тысячи австрийских офицеров и более ста тысяч солдат.

— Более ста тысяч? — воскликнул Покидан. — Это, почитай, половина всех пленных, что сидели в нашей Цитадели! Но откуда вы все это знаете, товарищ Садаклий? Память у вас зверская!

— Обыкновенная память, — улыбнулся Садаклий. — Темой моей дипломной работы в университете была операция русской армии в Галиции. Несмотря на грабительский характер первой мировой войны, мобилизованные в царскую армию русские солдаты несли сюда революционные идеи. Среди солдат было немало участников первой русской революции тысяча девятьсот пятого года. Не случайно во многих галицийских селах, где побывали русские солдаты, крестьяне стали поговаривать о разделе помещичьих земель. У меня на работе, в сейфе, хранилась подшивка газеты «Перемышльская земля», которая выходила в осажденной крепости. Там прямо было написано об этом!

Прекрасно понимая, что эта страшная история, прочитанная Цимбалистой, задела души вчерашних пленных, Садаклий сказал:

— Горевать нечего и вешать нос тоже не надо. Мы-то вырвемся из этого подземелья обязательно. Даю вам слово...

— А меня Садаклий, — рассказывала после Цимбалистая, — когда мы остались одни, так вздрычил, что я месяц опомниться не могла. «Эх ты, лекарь, — говорил он, — желторотик ты, кто надоумил тебя читать им такое? Хлопцы, прибитые недавним пленом, и так лежат угнетенные. У всех на душе туманно, ой как туманно! А ты их ужасами пичкаешь, вместо того чтобы почитать им Зоценко, скажем, «Аристократку», или Остапа Вишню...»

Граница в ту последнюю военную осень сохранялась еще условно, не зря ее называли шутливо «зеленой». Через нее переваливали массы войск, идущих в Польшу и Гер-

манию добивать гитлеровцев, и мне ничего не стоило побывать в освобожденном недавно Перемышле.

Там, где некогда высились орудийные башни грозного форта Сан Ридо, была теперь ровная площадка, окаймленная оврагами, поросшая крапивой и лебедой. Только обломки бетона, которые нет-нет да и попадали под подошвы сапог, напоминали о трагедии, которая разыгралась здесь; под землей, много лет назад...

ЗАСАДА

Всю ночь Иванна не могла уснуть. Она поглаживала по головке сонную Фаину, прижимая ее к себе, а все мысли были с отцом. На рассвете, воспользовавшись тем, что Покидан, сидящий у замаскированного входа, задремал, она неслышно вынырнула в монастырский сад.

Ей удалось, избегая встречи с патрулями, добраться до Сквиловской рогатки, которую стерег замшелый каменный лев, а потом, лесами и оврагами, добраться до селения Лисиничи.

Кривчицы с церквушкой на околице были уже совсем близко — оставалось только пересечь шоссе, бегущую на Винники и Тернополь. Но это было опасно. За дрожжевым заводом, по другую сторону шоссе, были известные многим «Пески» — глубокие, песчаные овраги, где гитлеровцы убивали и сжигали трупы своих жертв. Вскоре после того как фашисты заняли город, они подвели к «Пескам» трамвайную линию и по ней, преимущественно ночью, на открытых платформах — «лёрах» — привозили тела убитых во львовском гетто и Яновском лагере смерти или жителей города, намеченных к уничтожению на месте, в оврагах.

Район «Песков» тщательно охранялся несколькими поясами оцепления, и потому, обогнув дрожжевой завод значительно восточнее, Ставничая прошмыгнула через шоссе почти у спуска в Винники и стала карабкаться по склонам горы, поросшей буковым лесом, на Чертовскую скалу. Так называлось беспорядочное нагромождение обломков скал, разбросанных на песчаной площадке, поросшей соснами и молодыми буками, откуда открывался прекрасный вид на окрестности Львова.

До войны сюда часто приходили экскурсии школьников и студентов, они разбивали здесь палатки, разжигали костры, отдыхали по нескольку дней, только изредка спускаясь в соседние селения за продуктами.

Сейчас на Чертовской скале было пустынно, и Иванна с наслаждением легла на мягкую траву, чтобы отдохнуть после дальней дороги. На трамвае она могла попасть к монастырю Студитов за каких-нибудь полчаса, ей же пришлось сделать крюк в добрых пятнадцать километров.

Освещенная утренним солнцем деревянная часовенка церкви и каменное здание монастыря хорошо просматривались отсюда. Полежав немного, Ставничая двинулась туда. Вниз сбегать было куда легче, и вскоре она очутилась на поле с копнами сжатой пшеницы.

Пересекая мелколесье и глинистые овраги, она добралась полями до деревянной церквушки, окруженной частоколом и кленами. Церквушку эту, построенную без единого гвоздя, как образец прекрасной народной бойковской архитектуры, привезли сюда, подо Львов, из Карпат по приказу Шептицкого.

Иванна миновала ворота, ведущие на погост, и, предвкушая встречу с отцом, быстрее пошла ведущей на монастырское подворье проселочной дорогой. Внезапно из-за поворота навстречу ей, загораживая путь, выскочил Каблак. Козырек его «мазепинки» был надвинут на лоб. Прищурив хитрые глаза, Каблак сказал:

— Какая приятная встреча, панно Иванна!

«Засада», — поняла Иванна. Она метнулась было назад, но тут, как из-под земли, выскочили два полицейя и крепко схватили ее за руки.

— Спокойненько, панно Иванна, — сказал, улыбаясь, Каблак. — Спокойненько!

— Тато, тато! — закричала в отчаянии Иванна.

На ее крик открылось окно в монастырской келье, и она увидела лицо своего отца. Прикрывая ладонью глаза от косых лучей солнца, отец Теодозий силился разглядеть, что происходит на дворе, но Каблак приказал полицейям:

— Давайте ее к самоходу. Быстро, ну!

Через несколько минут, связанная, она лежала на полу дребезжащего грузовика «Зауэр», а сидящий поодаль в кузове на сосновой скамейке Каблак приговаривал:



— И отца звать не надо было! Все равно он ничем бы панне не помог, только разволновался бы. А у него большое сердце... Жалеть папу надо!

НА ЛОНЦКОГО

Иванну привезли в следственную тюрьму на Лонцкого, на углу улиц Льва Сапеги и Томицкого. Мало кто выходил отсюда живым в годы оккупации.

Большинство узников, завозимых в этот дом, пропадали бесследно. Лишь изредка фамилии наиболее видных антифашистов после их расстрела печатались на красных объявлениях, подписанных начальником полиции и СД провинции «Галиция» бригаденфюрером СС Катцманом.

Попасть на Лонцкого было равносильно словам «отправиться на тот свет».

Альфред Дитц пригласил на первый допрос Иванны ее жениха Романа Герету. Сам же штурмбанфюрер, попыхивая сигарой, удобно развалился в мягком кресле за письменным столом следственной комнаты — динстцимера. Читая протоколы предыдущих допросов, он делал вид, что его нисколько не интересует беседа молодых людей.

У дверей комнаты стояло два эсэсовца с автоматами.

— Образумьтесь, Иванна, — тихо говорил бледный Герета, — если вы расскажете всю правду, господин Дитц сможет выхлопотать вам помилование. Ведь у вас вся жизнь еще впереди!

Хорошо пригнанная к сухощавой фигуре Гереты гитлеровская униформа военного капеллана была весьма к лицу молодому богослову. Он стоял перед своей невестой, сидящей на скамейке, повернутой скобами к деревянному полу. Положив на колени закованные руки, Иванна устало смотрела на них. Слова Романа проносились мимо ее сознания. Она тупо смотрела на носки сапог низенького эсэсовца и мысленно собирала остатки воли для того, чтобы не сказать ничего! Решительно ничего!

— Я люблю вас, Иванна, говорю это совершенно искренне, и потому...

— Искренне? Это вы говорите об искренности! — вдруг прорвало Иванну, и, подняв на Герету гневные глаза, она почти выкрикнула: — Думаете, я не знаю, кто подговорил

Каблака отказать мне в приеме в университет, кто украл адресованную мне телеграмму, кто обманным образом завлек меня в монастырь? Разве так поступают честные, искренние люди?

— Да, я сделал это, — признался Герета, — но сделал это для вашего же благополучия. Невесте будущего священнослужителя не пристало учиться в советском безбожном университете!

— А где он, ваш университет! — воскликнула Иванна и кивнула на Дитца. — Вот эти культуртрегеры его вам открыли?

— Подумайте, где вы находитесь, Иванна! — урезонил ее Роман.

— «Подумайте, подумайте»! — не скрывая презрения и ненависти, сказала Иванна. — Какой же вы лицемер! И вор! Да, вор! Вы счастье мое украли... Мечту мою украли... Вы и вам подобные! Как Иуда, предали меня...

— Именем бога заклинаю вас, образумьтесь! — молил Иванну Герета.

— Какого бога? — окончательно взорвалась Иванна. — Который привел на Украину таких вот палачей? Что вы машете мне? Да они сами не скрывают этого. Гляньте! — Закованными руками Иванна показала на фуражку Дитца с высокой тульей, что стояла на шкафу с большой сургучной печатью на дверцах. На околышке фуражки виднелось серебряное изображение черепа и перекрещенных костей. — Вот что они несут народу. Смерть! А я люблю жизнь и никогда не предаю тех, кто за жизнь борется...

Дитц, утратив показную выдержку, вскочил и, изо всей силы ударив кулаком по столу, закричал:

— Хватит с меня здесь большевистских митингов! Этот диалог прекрасно показал ваше лицо, Ставничая. Все ясно. Последний раз спрашиваю: где скрываются пленные, которым вы помогли бежать?

— Сознайтесь, Иванна... Умоляю, — прошептал Герета.

— Молчите хоть вы... с в я т о ю р с к а я к р ы с а ! — с нескрываемым презрением бросила в лицо жениху Иванна.

Это были последние слова, которые услышали от Ставничей гестаповцы. Допросы и пытки не могли сломить волю девушки. Ее пытали Энгель и Вурм, Бено Паппе и Кольф, Гейнц Гжимек и сам штурмбанфюрер Дитц, но,

кроме стонов, которые изредка вырывались у нее, израненной, обожженной светом сильных электрических ламп, чины тайной полиции не слышали ничего.

— Фанатичка!.. Форменная фанатичка! — докладывал своему начальнику Витиске и Питеру Краузу штурмбан-фюрер Дитц.

После того как гитлеровцы убедились, что допросы Ставничей не принесут гестапо ничего, ее втолкнули в черную закрытую машину. Завывая полицейской сиреной, на бешеной скорости машина эта подкатила к зданию бывшего университета имени Ивана Франко.

Всё те же аллегорические изображения Вислы, Днестра и Галиции венчали портал здания университета, но не было уже подле него смеющейся молодежи, не выходили из подъезда солидные профессора с портфелями в руках. Лишь два эсэсовца застыли с автоматами на груди у входа. Ветер лениво развеивал над ними огромный флаг со свастики. По бокам университета были выстроены немецкими инженерами две круглые бетонные башенки с бойницами для пулеметов. Оттуда в случае внезапного нападения могли бы вести огонь часовые. А на фронтоне портала, там, где некогда алела вывеска университета, появилась большая черная табличка с надписью, сделанной готической вязью:

ЗОНДЕРГЕРИХТ ДИСКРИКТ ГАЛИЦИЕН

Когда полицейская машина остановилась перед этим зданием, где размещался теперь «Особый суд провинции Галиция», из заднего отделения грузовика выскочило трое гестаповцев и вместе с другими заключенными выволокли из кузова Иванну. В ссадинах, обожженное и потрескавшееся лицо ее носило следы пыток, а расшитая крестиком гуцульская блузка, вся в бурых пятнах крови, была изодрана.

Иванна шла, откинув назад голову, неся перед собою руки, скованные кандалами, и закусив запекшиеся губы. Последними усилиями воли она старалась не выдать своего подлинного состояния глубокой душевной муки.

Подталкиваемая охранниками, шагала Иванна по знакомой ей университетской каменной лестнице. Навстречу спускался освобожденный старик поляк, которого судили в этот день. Он посторонился, чтобы пропустить Иванну...



Мне удалось потом разыскать этого старика.

— Проще пана, — рассказывал он. — Цурка Ставничего шла, как богатерка. Так, должно быть, шла на огниско когда-то Жанна д'Арк.

До сих пор не удалось установить, как вела себя Иван на заседании особого суда, и даже начальник львовского гестапо Питер Крауз ничего не мог сказать мне об этом, судебные же архивы немцы увезли из Львова.

Одно известно совершенно точно, что спустя два дня, измученный безуспешными поисками дочери, Теодозий Ставничий, узнав о том, что на «Горе казни» были на расвете повешены «какие-то партизаны», пришел к се подножию.

Гору окаймляли высокие березы и серостволовые буки. Ходило по городу предание о том, что когда-то магнаты казнили на этой горе, называемой зачастую и поныне «Гурой страцення», или «Горой казни», пленных повстанцев-гайдамаков, участников знаменитого народного восстания «коливищины». Австрийские жандармы, в свою очередь, уничтожали здесь захваченных польских повстанцев, а в годы немецкой оккупации по приказу гестапо здесь были снова воздвигнуты виселицы.

Медленно, тяжело дыша, поднимался узкой лестницей на эту мрачную гору Теодозий Ставничий. Он все еще верил в чудо, в то, что рано или поздно вернется к нему родная Иванна. Невдомек было старику, что там, на вершине горы, за кольцом молчаливых зевак, окруживших на почтительном расстоянии шесть черных виселиц, найдет он свое погубленное счастье.

Четыре эсэсовца, стоя на широко раздвинутых ногах, стерегли повешенных людей, выставленных для устрашения живых. Автоматы у эсэсовцев были взяты на изготовку.

На левой, крайней виселице была прибита на фанере трехязычная надпись:

ЭТИ ЛИЦА ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ, УЧАСТВОВАЛИ В ЗАПРЕЩЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И КАЗНЕНЫ ПО МОЕМУ ПРИКАЗУ.

СС БРИГАДЕНФЮРЕР И ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ КАТЦМАН

Потихоньку расталкивая зевак, Ставничий приближался по лестнице к виселицам.

Он увидел перед собой хорошо начищенные сапоги первого охранника и потом пряжку пояса, туго обтягивающего живот эсэсовца. На пряжке полукругом шла надпись: «Готт мит унс!»

На последней, верхней ступеньке Ставничий задержался, чтобы перевести дыхание, поднял еще выше голову, и все поплыло перед ним.

Он увидел на одной из виселиц мертвое тело дочери. Изо рта у нее высывался белый кляп. Позже отец Теодозий узнал, что это гипс. Так во Львове заливали гестаповцы быстро стынувшим гипсом рты своим жертвам, чтобы добиться от них молчания во время казни.

— Иванна! — сдавленным голосом закричал старик и бросился к дочери.

— Цурюк! — закричал охранник и ударом автомата сбил старика с ног.

Ставничий упал на колени, и надпись «Готт мит унс!» снова мелькнула перед ним на хорошо начищенной бляхе пояса. Она завертелась в глазах, подобно спицам быстро мчащегося велосипеда.

Его участливо поднял, видимо давно стоящий здесь, пожилой мужчина в помятой шляпе-«борсалино». Поддерживая священника за локоть, он сказал ему по-польски:

— Пане дорогой! Я очень хорошо понимаю ваше несчастье. Это, наверное, дочка пана? Да? Видите: а это рядом мой сын Сташек. Студент юридического факультета университета Ивана Франко. Пока мы, поляки, тут с украинцами боролись, кому должен принадлежать Львов, пришли вот эти изверги и уничтожили наших собственных детей.— И он кивнул в сторону немецких охранников, что с каменными лицами сторожили останки казненных жертв.

— Ну, а если бы она послушалась уговоров своего жениха и созналась? Вы бы отпустили ее на волю? — спросил я Питера Крауза во время его допроса в Замарстиновской тюрьме осенью 1944 года.

— Возможно, да,— подумав, ответил Крауз.— Нам не хотелось портить отношения с церковью, которая все эти годы нам очень помогала. Кроме того, человек со сломанной волей подобен пластилину. Из него уже можно было бы лепить все, что угодно. Из таких людей мы вербовали нашу агентуру. Ставничая с ее внешностью могла бы принести большую пользу рейху.

— Скажите, Крауз, а ее жених Герета был вашим агентом?

— Яволь! — охотно подтвердил Крауз.— Его передала мне военная разведка абвера в сентябре тысяча девятьсот сорок первого года, после того как во Львове установилась гражданская администрация. А до этого, еще с польских времен, и он, и Каблак, и Верхола обслуживали ведомство адмирала Канариса.

Вскоре после того как мне удалось разыскать во Львове французов, сидевших в немецких лагерях, я нашел и

человека, который был невольным свидетелем казни Иванны. Им оказался бывший сторож пивного завода, расположенного под «Горой казни», Михаил Антонович Заговура. Он чистосердечно признался мне, что во время своего ночного дежурства вынес с завода и спрятал в гроте, выстроенном уже давно на склонах горы, дюжину бутылок выдержанного львовского пива, которое шло в продажу только для немцев в магазины «Нур фюр дейче».

Заговура сменился на рассвете и пошел к заветному гроту, где, присыпанные прошлогодними листьями, лежали бутылки. Только он вошел в грот, как внизу загудели гестаповские машины и соскочившие с них эсэсовцы мигом окружили гору.

Иванна шла первой в цепочке осужденных. Заговура хорошо видел ее из грота. Руки ее уже были раскованы. Когда ей велели стать на табуретку, она резким движением руки — не успел высокий эсэсовец набросить ей на шею петлю — сорвала с шеи нателный крест и отшвырнула его далеко в траву. Это было последнее, что сделала Ставничая в своей короткой жизни...

ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

В тот день, как отец Теодозий нашел на «Гуре страцення» свою мертвую дочь, митрополит Шептицкий принимал у себя в палатах нового важного гостя, прибывшего к нему из Берлина.

На этот раз им явился сам шеф немецкой военной разведки адмирал Вильгельм Канарис. Он внимательно слушал митрополита, изредка потирая свою холеную, гладко выбритую смуглую щеку.

Шептицкий был явно рассержен.

— Когда я согласился помогать господину Дитцу и его коллегам, — взволнованно говорил он, — я руководствовался нашими общими целями — борьбой с коммунизмом. Вам известно, господин адмирал, что в тысяча девятьсот тридцать шестом году, когда движение Народного фронта грозило охватить многие страны, я выступил против него одним из первых. Мою «Острогу против коммунизма» читали с амвонов во всех церквях Галичины. Душой и сердцем я поддерживал национал-социализм. Когда ваши



войска пришли сюда, я вправе был рассчитывать на взаимное доверие и сотрудничество. Почему же господа Дитц, Энгель и другие их коллеги из гестапо не захотели внять моим советам? Разве нельзя было увезти эту строптивую девчонку куда-нибудь подальше, чтобы не бросать тень на меня, на церковь? Зачем надо было казнить ее публично здесь же, во Львове? Это глупо, поймите, в высшей степени глупо! Надо работать тоньше, не будоража народ!

— Да, в наше время надо работать очень тонко, согласен с вами, ваша эксцеленция, — постукивая смуглыми пальцами по спинке дивана, согласился Канарис.

Как бы ободренный его словами, Шептицкий, показывая на потолок, сказал:

— На своем чердаке я укрываю именитых, достойных евреев города: главного львовского раввина Курта Левина и раввина Давида Кагане. Да, да! Прячу с полным сознанием ответственности за свое деяние и прошу немецкие власти не мешать мне поступать так, как я считаю нужным. Учтите, при малейшем изменении политической ситуации они — мои евреи — охотно подтвердят, что я, митрополит Андрей, был добр и к инаковерцам. Они расскажут тысячам, как мои каноники поили и кормили их в тот момент, когда вы, немцы, уничтожали сотни тысяч евреев. Все это, суммум суммарум, укрепит еще больше авторитет церкви, веры в ее справедливость и благородство в глазах населения и мировой общественности. Вот почему не следовало и с дочерью священника Ивановой Ставничей действовать так топорно, по-фельдфебельски...

— Подобные вопросы входят в компетенцию рейхсфюрера СС Гиммлера, — процедил сквозь зубы Канарис. — И все карательные меры также. Я же посетил вашу эксцелленцию, чтобы установить контакты по другим вопросам...

Глубокие глаза митрополита сразу стали отчужденными. Напрасно изливался он перед одним из самых приближенных людей Гитлера. Внутренне негодуя против неучтивости своего гостя, Шептицкий сказал:

— Чем я могу быть полезен?

Канарис встал. Рассказывая по розовой гостиной, он заговорил не сразу.

— Я буду говорить с вами откровенно, как со своим человеком и с коллегой. Вы были офицером австро-венгерской армии и поймете меня. Я даже знаю по старым досье вашу кличку в разведке — «Драгун». Последнее время на территории, занятой немецкими войсками, участились случаи заброски советских разведывательных диверсионных отрядов. Как правило, это небольшие группки людей, хорошо вооруженных, знающих немецкий и польский языки, снабженных рациями. Москва их сбрасывает с самолетов в район Карпат и Прикарпатья. Отсюда эти отряды пробираются в Польшу, в Чехословакию, в Венгрию и через Силезию достигают даже границ нашей империи. Нам становится все труднее вылавливать этих агентов Москвы, тем более что среди них есть западные украинцы,

отступившие некогда на Восток с частями Красной Армии. Положение усложняют также немцы, распропагандированные коммунистами в лагерях для военнопленных...

— При чем же здесь церковь и я? — перебил Канариса Шептицкий.

— Церковь, которую вы возглавляете, может быть очень полезна, — резко ответил Канарис. — Кто сейчас самая главная фигура на селе? Священник! Кто более всего осведомлен о том, что делается у него в приходе? Священник! Итак: целая армия верных вам священников по вашему слову будет мобилизована вами на борьбу с коммунистическими агентами. Речь идет не об участии пастырей в боевых действиях, вооруженную борьбу вести будут другие. Мне надо, чтобы священники сообщали о всех новых подозрительных людях, которые появятся в их приходе. И ничего больше! Вам понятна моя мысль?

Шептицкий, сидя в кресле, молча следил за движениями адмирала, который расхаживал по гостиной.

— Но кто поручится, что скрытные действия служителей церкви, подчиненных мне, не станут известны прихожанам? Кто может поручиться, что какой-нибудь недалекий офицер абвера или контрразведчик не разоблачит их, действуя столь же грубо, как это сделал штурмбанфюрер Дитц? — сказал Шептицкий.

— Мы работаем чище, — недовольно сказал Канарис. — Вы знаете, конечно, что я не новичок в этих делах. Когда двадцать пять лет назад по приказу русского генерала Брусилова вы были вывезены из Львова в глубь России за проповеди в пользу Австро-Венгрии и Германии, я уже выполнил не одно важное задание нашего генерального штаба. Я специально проинструктирую свой офицерский состав, чтобы связь со священниками была незримой для постороннего глаза. Больше того, я прикажу, чтобы мои офицеры, прибывающие в села, не размещались в приходах, а останавливались только в крестьянских избах. Это вас устроит?

— Вполне, — сказал Шептицкий. — Скажу вам откровенно: уверовав в молниеносный исход войны с большевиками, в надежде, что Москва падет быстро, мы сделали немало неосторожных заявлений в верности Германии и фюреру. Сейчас мы горько в этом раскаиваемся...

— Понимаю вашу эксцеленцию! — сказал Канарис. —

Чем дальше внешне церковь будет от политики, тем больше она сможет помогать этой политике тайно... Итак, вы обещаете содействовать нам?

— Попробую,— уклончиво сказал Шептицкий.— Все, что будет в моих силах, сделаю...

Эта беседа, как и многие другие тайные встречи Шептицкого с видными чинами гитлеровской Германии, осталась бы незамеченной и я был бы лишен возможности писать о ней, если бы не одно счастливое обстоятельство.

Наступающая на Берлин танковая армия среди прочих захватила в плен полковника разведки вермахта Эрвина Штольце, постоянно проживавшего до этого в Берлине, в районе Ригтенфельде, по Линденштрассе, 5.

Первый же допрос Штольце подсказал советским разведчикам, что в их руки попала очень крупная «рыба».

Еще до прихода Гитлера к власти Штольце был посвящен в самые сокровенные тайны германского государства, знал всю сеть немецкого шпионажа как в стране, так и за рубежом. Уже во времена Веймарской республики он служил начальником первой секции абвера, или немецкой военной разведки, и контролировал всю секретную переписку между центральным аппаратом разведки и штабами военных округов.

В 1937 году адмирал Канарис, сменивший на посту шефа немецкой разведки полковника Николаи, назначил Эрвина Штольце начальником группы «А» при седьмом отделе абвера. Штольце часто бывал с секретными докладами у самого Гитлера. 15 сентября 1944 года он был назначен начальником Абверштелле-Берлин, имеющей кодовое обозначение «Коммандо Мельдегебит».

Я нашел возможность ознакомиться с письменными показаниями начальника абвера. Понимая, что его служебная карьера кончена раз и навсегда, он охотно давал показания, считая бессмысленным утаивать что-либо.

Эрвин Штольце охотно сообщил о поездке Канариса во Львов к митрополиту Шептицкому, о его разговоре с «князем церкви». До приезда Канариса у Шептицкого побывал другой крупный немецкий разведчик — капитан и профессор теологии Ганс Кох. Шептицкий хорошо знал Коха еще со времен первой мировой войны.

Канарису не понравился независимый тон, каким разговаривал с ним митрополит. Его рассердила дерзость

митрополита, который, кончая аудиенцию, сказал, улыбаясь: «А я-то думал, что адмирал должен быть на море, а он, оказывается, стоит у руля военной разведки!» Вильгельм Канарис с неудовольствием повторил эту фразу Штольце в Берлине, а тот в свою очередь сообщил ее на допросе офицеру советской контрразведки.

Пока митрополит принимал адмирала Канариса, в соборе святого Юра шла торжественная служба. Вдруг, расталкивая молящихся, перед капитулом появился отец Теодозий Ставничий. Ветер развеивал его седые волосы и полы расстегнутого пыльника. Прихожане с удивлением разглядывали полубезумного старика. Навстречу Ставничему по лестнице быстро спускался митрат Кадочный. Увидев отца Теодозия, он недовольно сказал:

— Почему вы не были на торжественном молебствии, отец Теодозий? Мы молились сообща, все пастыри и верующие, о даровании победы над врагами, а вы... Митрополит будет недоволен.

— Где митрополит? — закричал Ставничий.

— У его эксцелленции какой-то важный, очень почетный гость. Видите? — И Кадочный показал на прижавшийся к стене капитула длинный синий лимузин «хорх» с нацистским флажком на сияющем радиаторе.

Шофер лениво опирался о кузов машины и с любопытством разглядывал богомольцев, заполонивших подворье. На поясе шофера поблескивала пряжка с надписью: «Готт мит унс!»

Ставничий оттолкнул Кадочного, взбежал выше и, опираясь ладонями о каменные перила балюстрады, закричал:

— Люди!.. Слушайте меня... Я тоже учил вас заповеди «Не убий!»... Я учил вас смирению и добру. А они, мои иерархи, отняли у меня единственную дочь и выдали ее убийцам. Они подло предали ее... Единственную дочь... Вы слышите, как пахнет горелым? Это сжигают за Лычаковым ваших близких... Их тоже убили те, кто пришел к нам с надписями на поясах: «Готт мит унс!» Люди!..

— Боже... Да он сошел с ума! — в ужасе воскликнул Кадочный, закрывая лицо руками. Но тотчас же оглянувшись и, увидев подбегающего дьякона, скомандовал: — Звоня туда! — Он показал пальцем в сторону колокольни. — Глушить безумца!..

— Вам говорят в проповедях о крови Христа, — продол-

жал отец Теодозий, — а тот, кто пролил кровь ваших братьев и сестер, пирует сейчас с митрополитом. Вон его машина... Смотрите...

Взгляды многих богомольцев повернулись к лимузину, и испуганный шофер, не понимая, что выкрикивает этот безумный старик, на всякий случай заскочил в кабину и расстегнул кобурю пистолета.

Быстрой кошкой вбежал по крученой лестнице на колокольню молодой звонарь. Схватил веревку, идущую к языку древнего колокола «Дмитра». Гулкий, надтреснутый звон древнего колокола заглушил Теодозия. Оттаскивая Ставничего от балюстрады, Кадочный иступленно закричал:

— Не слушайте его... Братья во Христе! Разум его помутился!

— Уйди! — с ненавистью толкая в грудь митрата, сказал Ставничий. — Такой же, как и все, иезуит... Подлые, святоюрские крысы...

На подмогу древнему колоколу пришел своим звоном колокол поменьше, заглушая голос Ставничего. Богомольцы видели только, как беззвучно раскрывается его рот.

Два крепких румяных дьякона вместе с митратом Кадочным схватили Ставничего под руки. Он отбивался изо всех сил. Они оторвали его от каменных перил и поволокли в глубь собора, в захристие, подальше от взглядов верующих.

Недобрую весть о гибели Иванны обитателям подземелья принес садовник Вислоухий.

— Мы все виноваты в том, что не сумели задержать ее здесь, — горевал Журженко.

— Нельзя, ни в коем случае нельзя было оставлять ее без присмотра ни на минуту! — сказал Садаклий. — Такая потеря!

— Эх, Покидан, Покидан! — упрекал Журженко. — Такая девушка из-за тебя погибла!

— Да я что? Товарищ капитан! — чуть не плача оправдывался Покидан. — Кто мог подумать? Вы ее давеча угорюшили не ходить к отцу, она утихомирилась. Если бы кто шел снаружи, сигнализация сработала, и я бы проснулся. Чутко задремал, а она, как ящерица, прошмыгнула...

...Несколько дней Садаклия не было, а когда он вернулся, люди узнали, что он был в Ровенских лесах. Новости, которые привез из Ровно Садаклий, были утешительными. Ему удалось связаться с партизанским отрядом особого назначения, которым командовал полковник Дмитрий Медведев, и с действующим на Волыни партизанским соединением «дяди Пети» — полковника Антона Бринского. Оба командира охотно согласились принять к себе беглецов из львовской Цитадели. Среди них было немало обстрелянных парней, бывших пограничников.

Было решено: раненых оставить в подземелье до полного выздоровления под опекой Цимбалистой и садовника Вислоухого, а остальным готовиться к перебазированию в Цуманские леса и на Волынь.

Садаклий направил Журженко на разведку в город, поручив прикрывать его Щирбе.

«СЮРПРИЗ»

Журженко с каждой минутой чувствовал себя лучше и увереннее. Опираясь на палку, опустил пониже на лоб велюровую шляпу, которую притащил ему вместе с костюмом Голуб, он прошел по аллеям Иезуитского сада до круглой ротонды. Еще в австрийские времена в ней обычно играл гарнизонный оркестр, развлекая гуляющую публику военными маршами и вальсами Иоганна Штрауса.

— Пане капитан, если не ошибаюсь, — вдруг услышал Журженко рядом.

У ротонды, приподняв черный котелок-«мелоник», стоял невысокий пожилой человек в пенсне, с остроконечной бородкой. Журженко не узнал этого человека и, уклоняясь от встречи с ним, сказал:

— Простите, вы ошиблись! — и шагнул дальше.

Но бородатый быстро пересек ему дорогу и, размахивая котелком, сказал укоризненно:

— Ай-ай-ай! Как можно не узнавать старых знакомых, то в а р и щ капитан Журженко? Неужели вы не помните, как мы с вами пировали на заручинах в доме Ставничих? Вы еще произнесли такую чудесную речь о ветре, ворвавшемся к нам с Востока. Как же сейчас обстоит дело с этим «ветром», пане капитан?

Журженко уже узнал говорливого адвоката Гудим-Левковича. В язвительном тоне, каким произнес слово «товарищ» Гудим-Левкович, капитан почувал опасность и, ускоряя шаг, бросил:

— Слушайте, я вас вижу впервые!

Гудим-Левкович резким движением вырвал у него палку и, отшвырнув ее в кусты, сказал с ненавистью:

— О нет, пане капитан! Так быстро мы с вами не расстанемся! Теперь мы поквитаемся с вами! — Адвокат заметил быстро подходящего к ним украинского полиция. Большой радостью была для Гудим-Левковича эта неожиданная подмога. — Пане полицай! Пане полицай! — запричитал адвокат, подзывая Щирбу. — На минуточку!

Щирба быстро подошел к Гудим-Левковичу, и тот с облегчением показал на Журженко:

— Задержите его! Это переодетый большевистский командир, к тому же, наверное, еврей! Берите его! Берите! А те пять литров водки вместе с мармеладом, которые полагаются по приказу бригаденфюрера СС за выдачу еврею каждому украинскому патриоту, я вам презентую. Возьмите себе на здоровье! — И, довольно потирая маленькие ручки с золотым перстнем, Гудим-Левкович весело хихикнул.

Щирба вытащил из кобуры никелированный «вальтер» и, направив его в спину капитана, сказал адвокату:

— Благодарю вас, пане меценас! Только пойдемте вместе. Надо будет записать ваши показания...

Когда они втроем дошли до каменной ограды монастырского сада и Щирба, вынув ключ, воткнул его в скважину узкой двери, Гудим-Левкович обеспокоился:

— Позвольте, это же сад митрополита, а не комиссариат полиции! Куда вы меня ведете?

— Веду куда надо, — спокойно ответил Щирба, открывая калитку и пропуская в нее первым Журженко с поднятыми руками. — У нас здесь особый пост полиции. Мы охраняем покои его эксцеленции и вылавливаем среди прихожан подозрительных, вроде этого типа.

По его знаку Гудим-Левкович перешагнул порог калитки и, подождав, пока Щирба закрыл ее, мелкими шажками просеменил за капитаном. Как только Щирба откинул первую тачку, обнажая потаенную дверцу, ведущую в подземелье, Гудим-Левкович запричитал:

— Послушайте, я не пойду туда!

— Я вам уже объяснил: у нас здесь свой тайный пост. Для таких доверенных конфиденентов, как вы, пане адвокат!

— Откуда вы знаете, что я адвокат? — уже не на шутку встревожился Гудим-Левкович, глядя на Щирбу узенькими глазами.

— Ну кто же из местных людей, от Турки до Сокаля, не знает пана адвоката Гудим-Левковича? — сказал, улыбаясь, полицай и дал знак Журженко, чтобы тот опустил руки. — Ваши блестящие речи в защиту украинских националистов надолго запали в души молодежи.

Тем временем Журженко открыл вход в стене, обнажая черное отверстие, ведущее под землю.

— Куда вы меня ведете? Я буду кричать! — срывающимся голосом пискнул адвокат.

— К добрым людям веду. — Крепко схватив адвоката за руку, Щирба подтолкнул его к дыре. — К настоящим украинским патриотам! Вы доложите им об этом вражеском агенте и получите благодарность!

— Почему сюда? Я не хочу! — упираясь ногами в тачку, взмолился Гудим-Левкович.

— Закрой морду! Ну! — приказал Щирба и перевел ствол пистолета на Гудим-Левковича. — Если еще пискнешь, ляжешь здесь же трупом. Давай вперед! — И он толкнул адвоката в темное отверстие.

Шум карбидных ламп и примусов, темные силуэты раненых, лежащих под стенами на соломе, мрачные своды подземелья — вся эта непривычная обстановка, в которую попал Гудим-Левкович, окончательно парализовала его волю.

На прямой вопрос Садаклия: «Какова ваша кличка в зондердинсте?» — адвокат покорно ответил:

— «Щель».

Ни Садаклий, ни Журженко не рассчитывали на столь быстрое признание. Только страх мог заставить галицкого политика, привыкшего всю жизнь хитрить, изворачиваться, обманывать, «расколоться» столь быстро.

— Понятно, значит, вы играли роль той самой щели, сквозь которую немцы пытались шпионить за настоящими патриотами? — уточнил Садаклий, выкладывая содержимое бумажника адвоката.

— Так точно! — ответил Гудим-Левкович.

— У кого вы на связи? — спросил Садаклий, быстро пробегая какое-то письмо на немецком языке.

— У гауптштурмфюрера Энгеля.

— Где с ним встречается? Адрес конспиративной квартиры?

— По средам в пять вечера. На Фюртенштрассе, семьдесят пять, в квартире лейтенанта украинской полиции Филиппа Вавринюка. Он мне сдал ее до осени.

— Телефон там есть? — спросил Садаклий.

— Так точно! Два семнадцать пятьдесят четыре...

— Одно место встречи? — спросил Садаклий.

— Нет, зачем, — поправился адвокат. — Иногда я прихожу на Майенштрассе, десять.

— На квартиру к гауптштурмфюреру Кнорру? — сказал Садаклий, посмотрев в глаза Гудим-Левковичу.

Тот съехался под этим взглядом:

— Да...

— Кнорр курирует теперь в зондердинсте вопросы церкви, не так ли? — спросил Садаклий.

— Да, он хорошо ориентируется в церковных делах! — согласился Гудим-Левкович.

— И вхож к митрополиту?

— Разумеется.

— Кнорр присутствует на встречах с Энгелем на Майенштрассе, десять? — спросил Садаклий.

— Как правило — всегда.

— Он давал вам задания освещать церковные дела?

— Непосредственно от Кнорра я получил два задания, — ответил Гудим-Левкович.

— Какие именно?

— Он просил меня составить список священников-москвофилов, тех, кто относится с симпатией к Советской России.

— А второе задание? — спросил Садаклий.

— Я получил его вчера, — сказал Гудим-Левкович. — Гауптштурмфюрер распорядился собрать информацию об отношении униатского духовенства Львова к казни Иванны Ставничей...

— Так... так... — постукивая пальцами по деревянному ящику с наклейками, задумчиво протянул Садаклий. — А с какого же года вы стали сотрудником польской охраны — дефензивы? — быстро спросил Садаклий.

— Нет... Нет... Честное слово, нет! — засуетился Гудим-Левкович. — С поляками я не сотрудничал. Христом-богом клянусь! — И он впопыхах перекрестился. — Чего нет, того нет. Мои патриотические убеждения украинского деятеля не позволяли...

— Но ваши патриотические убеждения «украинского деятеля» позволили вам стать тайным агентом немецкого СД. — вмешался Журженко.

— Погодите, Иван Тихонович! — остановил его Садаклий. — Надо еще кое-что выяснить. — Он аккуратно сложил письмо, запрятал его обратно в конверт с золотым тиснением и спросил: — Значит, вам знакома жизнь капитула, раз Кнорр давал вам подобные поручения.

— Видите ли, я пять лет был внештатным юрисконсультom митрополита, — разъяснил Гудим-Левкович. — Я вел спорные дела по его имению в Прилбичах, судился с лесопромышленниками в Карпатах. Там ведь большие лесные угодья капитула. Митрополит меня хорошо знает. И священников у меня знакомых очень много.

— Почему выбор митрополита пал именно на вас?

— Меня порекомендовал ему мой старый сослуживец по австрийской армии, управляющий имениями митрополита инженер Андрей Мельник.

— Так называемый «вождь» украинских националистов? — улыбнувшись, спросил Садаклий.

Адвокат, не уловив оттенка иронии в голосе своего следователя, поспешно сказал:

— Один из вождей! Один из вождей! Ведь сейчас на этот пост претендует Степан Бандера. После известного путча молодых...

— Ответьте мне прямо, пане меценас, — величая Гудима-Левковича по-местному, как принято в Галиции называть адвокатов, и отчеканивая каждое слово, спросил Садаклий, — отец Теодозий вызвал Иванну в Кравчицы по наущению митрополита?

— Я думаю... его эксцелленция посоветовал это сделать...

— И одновременно сообщил в гестапо, что письмо отправлено? — спросил Садаклий.

— Вот этого я не знаю... Ей-богу, не знаю... С митрополитом я давно не виделся. Вот крест святой! — Адвокат снова осенил себя крестным знамением и взглянул на сво-

ды подземелья, как бы побаиваясь, не подслушал ли его слова кто-либо из каноников.

— Где находится отец Теодозий? — спросил Садаклий.

— Его эксцелленция поступил с ним очень милостиво. Вместо того чтобы направить отца Теодозия за его кощунственные выкрики по адресу немецких властей в тюрьму, митрополит объявил его умалишенным. Отца Теодозия отвезли в психиатрическую лечебницу на Кульпарков. Он находится там под присмотром отца Николы Ярöseвича.

— Кто такой Ярöseвич?

— Священник в каплице святого Иосифа. Он и живет там, на территории лечебницы, — сказал Гудим-Левкович, видимо желая расположить к себе следователя.

— А что значит это приглашение? — взмахнув письмом, спросил Садаклий. — Откуда вы знаете штурмбанфюрера Дитца?

— О, я его знаю еще по австро-венгерской армии! — охотно признался Гудим-Левкович. — Он ведь из-под Львова. Мы вместе с ним служили в «украинской галицкой армии», вместе с ним Киев ходили брать в девятнадцатом, да большевики надавали нам по шее.

— И Ганса Коха знаете? — спросил Садаклий.

— Ну разумеется! Он разведкой в «украинской галицкой армии» ведал. Его даже на переговоры с Деникиным командование посылало! — сказал адвокат.

— Поэтому, прибыв с немецкими войсками во Львов, он поселился в палатах митрополита? Не так ли?

— Совершенно верно! Ведь капитан Ганс Кох является одновременно и профессором теологии. Они старые друзья с митрополитом.

— Куда же и по какому поводу приглашает вас штурмбанфюрер Дитц? — спросил Садаклий.

— Сегодня вечером, в ресторане «Пекелко», он празднует день своего рождения. Мы старые комбатанты...

— Но ведь ресторан «Пекелко» только для немцев — «нур фюр дейче»? — пошутил Журженко.

— Пан Дитц человек без предрассудков. Долгие годы он прожил с нами и понимает, что без дружбы с галичанами ему придется плохо, — сказал Гудим-Левкович, — он будет слеп.

— Кто там будет еще, кроме именинника? — Садаклий опять посмотрел на конверт.

— Коллеги. Друзья...
— Какие коллеги?
— Ну, из гестапо... Из зондердинста... Из криминаль-полиции.

Садаклий встал и потянулся, как бы разминаясь. Потом он позвал в соседний отсек молчавшего во время допроса Голуба, Журженко и Щирбу, показав Зубарю знаком на адвоката. Когда они очутились в стороне от главного подземного зала, Садаклий тихо спросил Голуба:

— Вы хорошо знаете расположение ресторана «Пекелко»?

— Как свои пять пальцев! Сколько раз канализацию там прочищал! Харчили меня за это бесплатно на кухне!

— Есть у меня идея, друзья,— тихо сказал Садаклий.— А что, если и нам поздравить штурмбанфюрера?

...Был пасмурный душный вечер. К ресторану «Пекелко», расположенному в подвале дома на углу Пекарской и площади Бернардинов, подъезжали «мерседесы» и «хорхи», «оппель-адмиралы» и маленькие «оппель-кадеты», старомодные «стейеры». Расфранченные гости, выходя из машин, стягивали лайковые перчатки и поглядывали на затянутае черными тучами, мрачное небо, озаряемое за аэродромом Срнилов быстрыми зарницами — предвестниками близкой грозы.

У входа неоновый бес с вилами синей стеклянной рукой приглашал гостей в «преисподнюю». Гости чинно проходили и подавали швейцару в золоченой ливрее свои приглашения.

Тот внимательно вчитывался в них и учтиво распахи-вал перед каждым новым гостем решетчатые двери. Лестница круто спускалась вниз. По бокам ее, на масляных стенах, были наклеены развлечения пьяных грешников в аду. Громкие звуки фокстрота «Розамунде», столь любимого немцами, вырывались всякий раз и на улицу, как только швейцар открывал дверь.

Из длинного черного лимузина «майбах» вышел виновник торжества Альфред Дитц, ведя под руку свою любовницу, светловолосую Лили фон Эбенгард. После того как он спустился вниз, к подъезду ресторана подкатил фаэтон на дутых резиновых шинах. С его подножки соскочил человек, одетый в несколько старомодный костюм и

котелок-«мелоник», какие носили в начале этого века зажиточные люди в Галиции. Оглянувшись и дав знак вознице, чтобы тот задержался, новый гость подошел к швейцару и, показывая ему конверт с приглашением, сказал:

— Я секретарь адвоката Гудим-Левковича. Мой шеф — давний друг господина штурмбанфюрера Дитца, к сожалению, внезапно уехал к больной жене в Перемышль и не может присутствовать на сегодняшнем торжестве. Он написал здесь письмо с поздравлениями и извинениями господину Дитцу и передает ему маленький подарок ко дню рождения. Отнесите, будьте добры, этот пакет господину Дитцу! А это вам, за услуги! — С этими словами посетитель протянул швейцару сто — не оккупационных, нет, а настоящих! — имперских марок, имеющих хождение по всей Германии, и тяжелую коробку довоенного еще шоколада фабрики «Бранка», перевязанную атласной лентой.

Дитц был сладкоежкой, и такой подарок, по всей вероятности, должен был доставить ему большое удовольствие.

Швейцар, скользнув взглядом по денежной купюре, небрежно опустил ее в боковой карман ливреи и, оглянувшись, поманил к себе солдата, стоящего за дверью. Это был шофер «майбаха», на котором приехал праздновать день своего рождения штурмбанфюрер Дитц.

«Секретарь» адвоката, убедившись, что коробка с письмом передана по назначению, вежливо приподнял «мелоник» и, усевшись на пахнущее кожей и лошадиным потом мягкое сиденье фаэтона, тронул палочкой спину возницы. Это были Садаклий и Эмиль Леже.

Под низкими сводами зала ресторана «Пекелко», в костюмах чертей, затянутые в тугие черные трико, хвостатые музыкантши наигрывали модное танго. Шофер Дитца, приблизившись к столу шефа, почтительно щелкнув каблуками, вручил ему подарок от «адвоката» и письмо.

— Was ist das¹, Альфред? — ревниво спросила его дама.

— Подарок от старого комбатанта, — пробормотал Дитц, прочитывая письмо, написанное рукой Гудим-Левковича. — Очень обязательный человек, оказывает нам неоценимые услуги. Ну, скажи на милость, кто бы мог до-

¹ Что это такое? (нем.)

стать во Львове такой шоколад? А он достал! «Бранка»! Ты понимаешь, что это значит? Отличный шоколад! Предвоенный!

— Дай-ка я попробую,— попросила Лили Эбенгард.

— Возьми, пожалуйста.— Он пододвинул ей сюрпризную коробку, наливая себе в рюмку желтый «Аирконьяк».

Лили развязала атласную ленту коробки и только стала приподнимать ее крышку, как раздался сильный взрыв. Мраморный столик около Дитца разлетелся в пыль. Сам штурмбанфюрер рухнул окровавленным лицом на скатерть, засыпанную осколками стекла и почерневшую сразу от взрывчатки, а его светловолосая подруга медленно сползла под стол...

«Сюрпризная коробка», изготовленная в партизанском подполье, сработала отлично.

Да, Эмиль Леже не зря хвастал своими познаниями в саперном деле. Командование иностранного легиона в Африке позаботилось в свое время об особом взрывном устройстве. К ногам часового на посту у казармы, расположенной в оазисе пустыни, прикреплялось «изобретение» Леже. Если бы часового свалили или он бы уснул, следовал бы взрыв. Эта мера была предпринята против ночных набегов лазутчиков из воинственного племени туарегов, наловчившихся бесшумно снимать часовых. Туареги резко сократили свои набеги на французские гарнизоны: осколки, разлетающиеся при взрывах в ногах часовых, поражали лазутчиков и давали сигнал тревоги, за которой шло преследование.

Свои познания в области пиротехники и взрывного искусства Эмиль Леже применил теперь, чтобы отомстить немцам за гибель Иванны.

Первые тяжелые капли дождя упали на «мелоник» Садаклия, когда он уже проник в монастырский сад. Молния, ударившая где-то рядом, осветила подходы к потайному лазу в подземелье. Когда Садаклий проник туда, густые, косые потоки дождя, смешанного с градом, ударили по кронам высоких буков и ясеней, заливая все вокруг.

Давно уже не помнили старожилы Львова такой сильной ночной грозы. Не только бетонный канал, в котором протекало главное русло Полтвы, но даже все коллектора в нагорной части города наполнились сразу глинистой шумной грозовой водой.

Смешанная с нечистотами, разливающаяся озерами возле решеток канализации вода быстро потащила вниз, к Замарстинову, сброшенный в люк под собором святого Юра труп казненного по приговору подземного партизанского трибунала предателя и агента зондердинста, адвоката Гудим-Левковича.

ПРОЗРЕНИЕ ЛИ?

Отсветы синевато-зеленых молний, раскаты грома и струи дождя, бившие в окна капитула, долго не давали уснуть в ту ночь князю греко-униатской церкви Андрею (в миру — Роман Мария Александр) Шептицкому.

Не разговор с Канарисом растревожил митрополита.

Приближался час, когда уже не лгут ни себе, ни людям. Но «кому повем печаль свою»? Кому мог сказать гордый умный иерей: «Всю жинь я ставил на дохлого коня: готовил победу Германии над славянским Востоком».

Митрополит ворочался с боку на бок на двуспальной кровати, с трудом приподымая утонувшее в пуховиках и одеялах грузное немощное тело. На минуту дрема одолевала его, перед глазами возникали видения: то на него глядели полные укора, наполненные мукой глаза Иванны, то звучал ее голос: «Пожалейте их, ваша эксцеленция! Одно ваше слово! Вам ничего не будет!»

Пожалеть! Кого пожалел он на своем пути?

Митрополит прислушался. Тишина. Тишина кругом. Но вот в нее врывается топот кованых сапог... Это по Европе шагают фашисты. Нет, не шагают, как прежде, а торопливо покидают завоеванные территории. Вот уж от берегов Волги докатились почти до Буга. А где же его детище, батальон «Нахтигаль», созданный им из отпетых головорезов? Давно ли с голосистым пением он проходил под арку капитула? Прежде чем начать массовые убийства и грабежи мирного населения, батальон получил благословение его, митрополита Шептицкого.

О, он хорошо запомнил тот день! Вывезенный келейниками на балкон, дряхлеющей рукой благословлял уже состарившийся митрополит почтительно глядевших на него коменданта батальона «Нахтигаль», сотника Романа

Шухевича, капеллана Ивана Гриньоха и других националистов, переодетых в немецкие мундиры.

Вместе с новым видением в уши митрополита врываются заливчатские голоса добровольцев дивизии «Галичина». Шагая по улицам Львова, который немцы называли Лембергом, они поют украденную ими у украинского народа песню: «Зажурились галичанки, тай на тую зміну, що відходять усусуси тай на Україну».

Украинские эсэсовцы, завербованные членами «военной управы» и его, Шептицкого, подопечными священнослужителями, печатают шаг в сапогах немецкого образца. Молнии СС на шлемах — свидетельство прямого подчинения рейхсфюреру гитлеровской гвардии Гиммлеру. На флажках, свисающих у трубачей, надпись: «На Москву!»

Но до Москвы не дошли немецкие наймиты, несмотря на благословение митрополита и его иерархов...

Игра проиграна. Шептицкий переворачивается и, подтянувшись, включает стоящий на тумбочке около его широкой кровати продолговатый радиоприемник «Телефункен». Когда глазок его становится зеленым, кошачьим, митрополит начинает лениво вращать катушку настройки. Мир самых разнообразных звуков врывается в ночную тишину спальни владыки. И вдруг в эту какофонию звуков врывается твердая, уверенная украинская речь.

Рука митрополита останавливает движение катушки. Лежащий на перинах и мучимый бессонницей старец слышит четкие, полные надежды слова:

«Сегодня Львов — трижды распятый город — молча дожидается прихода нового дня. Не будят больше Львов голуби Стрелецкой площади. Его больше не надо будить. Настороженный, чуткий, он не спит по ночам, он прислушивается к мертвой тишине оккупированного города и ожидает той минуты, когда его каменные львы еще раз сойдут с поросших мхом каменных постаментов.

Родной Львов, мужественный Львов все еще в руках врага. Немец, подлый завоеватель, подлый хам-немец еще ходит его улицами, еще оскверняет своим гнилым дыханием стены города князя Данилы, города людей, которые любят свободу и умеют умирать за нее. Но шаг немца уже не тот, да и вид его уже иной. Надвигается на него неумолимая смерть с Востока, ежедневно тысячами и тысячами гибнут его подлые солдаты в степях Украины и лесах Рос-

сии. Держится немец, как репей кожуха, захваченного Львова, не хочется ему возвращаться домой, потому что и там земля будет содрогаться от взрывов бомб и назревающего взрыва народного гнева. Ежедневно упивается немец «экстренными сообщениями» штаб-квартиры Гитлера, но напрасно упивается. Угасает в нем вера в чудеса, чувствует он своим волчьим сердцем, что брехня не создает чудес, и его охватывает страх, неотвратимый дикий страх перед ночью, которая приближается, что обязательно придет и потрясающим львиным ревом позовет на смертный бой советский, родной Львов...»

Где-то далеко, на Замарстинове, завывала сирена, и митрополит вздрогнул. Ему и впрямь почудился львиный рев, пронесшийся над сонным городом.

Вдруг раздался мягкий и нежный женский голос: «Говорит радиостанция имени Тараса Григорьевича Шевченко. Перед микрофоном выступал наш радиокомментатор, писатель Ярослав Александрович Галан...»

«Галан... Галан... Галан... Кто такой Галан? Где я уже однажды слышал это имя?» — мучительно припоминал Шептицкий, и вдруг его осенило. В начале 1931 года один из каноников принес ему январскую книгу выходившего тогда во Львове журнала «Вікна» и, всячески извиняясь, доложил, что этот журнал «паплюжит», то есть оскверняет, священную особу его эксцеленции. Каноник показал митрополиту отчеркнутое место в памфлете «Куры на ганку», где было напечатано дословно: «А что касается Шептицкого, этот бородатый мутитель святой водички умножает свои «заслуги» основанием новой, уже наичернейшей из черных партии «украинского католического союза».

Фельетон был подписан «Яга». Митрополита задело не столько оскорбительное прозвище «бородатый мутитель святой водички», сколько то, что неизвестный автор, скрывающий по понятным причинам свою подлинную фамилию, очень едко, с большим знанием дела высмеял детище митрополита — новую партию, которая должна была пойти в атаку на коммунистов.

Шептицкий поручил тогда каноникам из консистории узнать, кто скрывается под псевдонимом «Яга», и завести на него досье. Так Шептицкий поступал всегда; в капитуле святого Юра на любого заметного инакомыслящего деятеля заводили своеобразное церковное следственное дело.

Дела эти лежали в большом, окованном стальными полосами сундуке, ключ от которого хранился у владыки. Изучая досье, он всегда мог парализовать противников униатской церкви, пробуя вести самостоятельную политику и пренебрегавших авторитетом Шептицкого. Одного «вольнодумца» через своих людей он лишил работы, пробуя сломить его волю голодом и нуждой. Другого с помощью тонко замаскированных связей церкви с пилсудчиками отдавал в руки полиции. В случае полного раскаяния и желания впредь подчиняться воле и указаниям митрополита малодушного ожидало не только всепрощение, но даже материальная помощь.

Уже в феврале 1931 года митрополиту доложили, что под псевдонимом «Яга» выступает молодой революционный писатель коммунист Ярослав Галан, изгнанный в конце двадцатых годов с учительского места в Луцкой украинской гимназии за свои левые убеждения.

Досье, заведенное на Ярослава Галана, росло быстро. Опытным мастерам политического сыска, каноникам Шептицкого удалось вскоре установить через их коллег, работавших под руководством епископа Иосафата Коцыловского в Перемышле, где некогда учился и жил Галан, что еще в 1924 году, приехав в Перемышль на каникулы, он вступил там в ряды подпольной Коммунистической партии Западной Украины. Каноники митрополита отмечали в досье появление каждого нового произведения Галана, соответственно их комментируя. Когда «Рабочий театр» во Львове поставил комедию писателя «99%», в которой был зло высмеян греко-католический поп отец Румега, стремящийся попасть в польский сейм, святоюрцы через своих тайных агентов сделали все возможное, чтобы пьеса эта поскорее сошла со сцены и ни в коем случае не проникла на сцены других профессиональных театров.

В первые недели войны по Львову распространился слух, что Ярослав Галан разделит судьбу своих друзей — революционных писателей Степана Тудора и Александра Гаврилюка, убитых одной фашистской бомбой 22 июня 1941 года. Каноники не без радости доложили митрополиту, что опасный смутьян Ярослав Галан уничтожен при вступлении немцев во Львов.

Митрополит убедился, что его обманули. Галан, оказывается, жив и говорит с Украины, с территории, занятой

советскими войсками. Откуда Шептицкий мог знать, что радиостанция имени Тараса Шевченко работала из Саратова? Он просил любыми способами заглушать ее тлетворные передачи. Но в ту ночь, когда впервые услышал в оккупированном Львове митрополит голос писателя, ему только вспомнилась легенда, на которую ссылался Галан. «В грозный час,— говорил Галан,— когда сердце народа переполняется сверх меры гневом и оскорблениями за все нанесенные обиды, каменные львы оживают. Они отряхивают седину со своих грив, сходят со своих постаментов и бегут сонными улицами, наполняя их потрясающим ревом».

Правда, не рычание львов, а рокот советских тяжелых танков услышит митрополит в одну из последних ночей июля 1944 года. В мерном рокоте моторов боевых машин, сделанных руками советских тружеников на заводах далекой Сибири и Урала, митрополит почует грозный набат: грянет возмездие за все те беды, которые причинили он и его церковь в годы всенародного горя...

До самого рассвета не спится митрополиту. Уже в пятом часу утра он нащупывает толстыми пальцами звоночек и, раскачивая его над одеялом, дребезжащим звоном зовет келейника.

Сонный келейник, как всегда дежуривший за дверью, неслышно возникает на пороге опочивальни владыки.

— Что это за запахи со двора, Арсений? — спросил митрополит.

— Известное дело, ваша эксцелленция. Были акции, а теперь трупы жгут на «Песках» за Лычаковым.

— Закрой окно, Арсений, и принеси мне люминал! — попросил владыка.

ПЫЛАЮТ ВСЮДУ СВЕЧИ

27 июля 1944 года высыпавшие на улицы жители Львова встречали первые советские танки. Отдельные разведчики-танкисты прорывались в город и раньше, начиная с двадцать третьего, но гул целых танковых армий жители города услышали в тот день, когда Москва салютовала двадцатью артиллерийскими залпами в честь освобождения Львова.

Мне не пришлось стать свидетелем того, как вызволяли из больничного плена отца Теодозия. Я прочел об этом

в его дневнике и услышал всю историю его освобождения из уст инженера Ивана Тихоновича Журженко. Продолжительное время вместе с Садаклием он воевал в одном из партизанских отрядов, действовавших на Волыни, и прибыл во Львов из Кременца вместе с большой группой советских и партийных работников, следующих за наступающими войсками.

Когда увешанные гирляндами и засыпанные цветами тяжелые танки — «тридцатьчетверки», — гулко грохоча над каналами Львова, пронеслись по Академической к плацу Болеслава Пруса и дальше, к Стрыйскому шоссе, устремляясь к Карпатам, Садаклий и Журженко мчались на запыленном «газике» по улице 29 листопада.

Колеса «газика» похрустывали на битом оконном стекле, засыпавшем улицу, задевали пересеченные осколками трамвайные провода. Машина проскочила мимо полуобгорелой виллы «Францувка», где некогда орудовал «под крышей» советника по делам переселения опытный немецкий разведчик Альфред Дитц, и, скрипнув тормозами, остановилась у Кульпарковой психиатрической лечебницы.

Садаклий и Журженко выпрыгнули из машины и принялись стучать в железные ворота лечебницы. На этот стук из дежурки выбежали рослые санитары в белом.

— Священник есть у вас... Теодозий Ставничий? — задыхаясь, спросил Садаклий.

— Есть, пане товарищу, — осторожно озираясь, прошептал один из санитаров.

— Давайте его сюда! Быстро! — приказал Садаклий.

— Да побойтесь бога, товарищ. Он же ненормальный... Сам митрополит заботится о нем! — пробормотал санитар.

Садаклий выразительно похлопал себя по кобуре, где лежал тяжелый польский пистолет «вис».

— Давайте, давайте! Я знаю, какой он ненормальный. Быстрее! Ну!..

Угроза получить партизанскую пулю подействовала. Через несколько минут санитары вывели на улицу худого, заросшего, седого Ставничего в длинной коломянковой рубашке. В руках у него был маленький сверток.

Журженко шагнул навстречу Ставничему и, набросив ему на острые плечи свою шинель, сказал:

— Здравствуйте, батюшка!

Ставничий, ошеломленный, испуганный, смотрел на советских офицеров, на давно уже забытые им погоны на гимнастерках. Наконец, узнав своего бывшего квартиранта, Ставничий воскликнул:

— Боже... Иван Тихонович!

Офицеры бережно посадили закутанного в шинель старика на переднее сиденье и повезли его в больницу на улице Пиаров, где некогда лежал раненый Журженко.

Прошло три месяца. Окруженный придворными врачами, митрополит и граф Андрей Шептицкий умирал в своей спальне. По всему Львову пылали свечи. Но не в память и не во здравие владыки.

И поныне в западных областях Украины, в Польше и Чехословакии родные и близкие торжественно отмечают день поминовения мертвых первого ноября. В этот день кладбища переполнены народом, и только на могилах бездомных, умерших в неизвестности, одиноких людей не пылают свечечки, не белеют положенные заботливыми руками близких последние осенние цветы — белые хризантемы и астры.

День поминовения мертвых — «задушки» — во Львове в последнюю военную осень 1944 года был особым. Колблемые ветром огоньки свечей и свечечек можно было видеть вечером не только на кладбищах, но и по всему городу в тех местах, где гитлеровцы пролили человеческую кровь. Они были приклеены к брандмауэру высокого серого дома на Краковской площади. Под этой высокой и глухой стеной гитлеровцы расстреливали обреченных патриотов. В ту осень еще ясно различались в штукатурке следы немецких пуль и бурые пятна крови.

Свечи горели на заборе Армянской улицы, изрешеченной немецкими пулями: у этого забора гитлеровцы совсем недавно убили среди бела дня 28 захваченных ими во время облавы молодых ребят.

Пылающие свечи были воткнуты в холодную, сырую землю под тремя каштанами у пожарного депо на Стрелецкой площади. Это место было избрано гитлеровцами для публичных и массовых экзекуций.

В глубоких песчаных оврагах за Лычаковом, в сырой и все еще пропитанной кровью Долине смерти за Яновским

лагерем, на опушке пригородного Белогорского леса — повсюду в этот холодный осенний вечер пылали воткнутые в землю свечечки. Их желтоватые огоньки заставляли сердце сжиматься от боли и гнева к фашизму. Огни свечей как бы обозначили географию преступлений гитлеровцев на украинской земле, ярким пунктиром отмечая гибели, гибели, гибели... Ведь более полумиллиона мирных, неповинных жителей одного Львова было уничтожено палачами за тридцать семь месяцев оккупации.

В тот вечер уже выписанный из больницы и окрепший Теодозий Ставничий пришел на «Гору казни» вместе с бывшим капитаном, а теперь инженером Водоканалтреста Журженко. Виселицы уже давно были спилены на дрова жителями соседних улиц, и только черные пеньки обозначали места, где они некогда стояли.

— Вот здесь она погибла! — показал инженеру место казни Иванны ее отец и дрожащей рукой прикрепил к одному из пеньков зажженную свечечку. — Дорогой ценой заплатил я за то, что долгие годы верил в бога и обманывал этой верой других людей, — с горечью признался Ставничий, глядя на стоящего рядом в молчании с непокрытой головой инженера.

— Обо всем этом и надо рассказать народу, Теодозий Иванович, — сказал Журженко. — Кончайте поскорее свой дневник. Все, что вы знаете, расскажите без стеснения. Ничего не утаивая. Хотя бы во имя памяти дорогой Иванны, которую мы с вами так любили...

«Где похоронена Иванна Ставничая?» — спросит меня читатель. Не знаю! То ли серебристый пепел ее, перемешанный с пеплом других сожженных и убитых узников фашизма, развеян по склонам песчаных оврагов за Лычаковом, то ли ее сожгли в Долине смерти за Яновским лагерем, в котором мы той осенью обнаружили специальную машину, переоборудованную немецкими инженерами из дорожного грохота-камнедробилки в костедробилку.

А быть может, останки Иванны похоронены на отлогих скатах горушки за дрожжевым заводом? Скрывая следы преступлений, гитлеровцы засадили их молодым лесом.

Я уже писал эту повесть, когда в дверь номера львовской гостиницы «Интурист», ранее называемой «Жоржем», постучались. В номер быстро вошли отец Касьян и встревоженный Ставничий.

— Здравствуйте, Владимир Павлович,— задыхаясь, сказал Ставничий.— Моя тетрадь цела у вас?

Я открыл ящик письменного стола и, доставая объемистую тетрадь в коленкоровом переплете, сказал:

— Вот она! Возвратить ее вам?

— Да нет, возвращать пока не надо,— смущенно ответил Ставничий.— Тут странная история произошла вчера. Пусть лучше отец Касьян поведает вам о ней...

Из рассказа отца Касьяна выяснилось следующее. После того как он отслужил вечерню в Свято-Онуфриевской церкви и возвратился к себе в монастырскую келью, запахнулась дверь и на пороге возник широкоплечий пожилой человек. Направляя в отца Касьяна пистолет, вошедший сказал:

— Тише! Не кричать! Где Ставничий?

— Уехал в Тулиголовы. К знакомым,— бледнея, сказал священник.

— Где он прячет свой дневник? — спросил человек с пистолетом.

— Не знаю,— обманул пришельца Касьян, хотя прекрасно знал, что до того, как передать дневник мне, Ставничий прятал его в ящичке над койкой, прибитом к стене.

Тогда незнакомец велел отцу Касьяну лечь на пол и стал обыскивать келью. Он отбросил матрацы на койках, перебрал все журналы и книги на стеллаже, долго рылся в чемоданчике Ставничего и вещах отца Касьяна. Обыск не привел ни к чему. Озлобленный, уходя, он сказал:

— Никому ни слова об этом! Понятно? Заявите — пеняйте на себя. И вспомните судьбу отца Романа Луканя!

— Кто такой Роман Лукань? — перебил я отца Касьяна.

— В монастыре василлан, где сейчас живу я, был умный монах, священник Роман Лукань. Многие годы он составлял жизнеописание первопечатника Руси и Украины Ивана Федорова, который, как вам известно, скончался во Львове и перед смертью преследовался воинственным орденom отцов доминиканцев. Я сам видел рукопись Луканя. Написано им было очень много. Особое внимание в ней уделял Роман Лукань таинственной истории исчезновения надгробной плиты с могилы первопечатника. Она исчезла бесследно. По слухам, ее уничтожили либо скрыли от по-

сторонних глаз отцы иезуиты. Отец Роман Лукань тоже придерживался этой версии.

— Где же его рукопись? — спросил я.

— Пропала после того, как в триста шестидесятую годовщину со дня смерти Ивана Федорова, как раз шестого декабря, отец Роман Лукань был сбит налетевшей на него перед нашим монастырем грузовой машиной и скончался, не приходя в сознание, — глухо сказал отец Касьян.

— Скажите, отец Теодозий, — спросил я Ставничего, — вы кому-нибудь говорили о том, что пишете дневник, кроме отца Касьяна, инженера и меня? Я имею в виду прежде всего священнослужителей.

— Знал об том, — напрягая память, промолвил Ставничий, — священник каплицы — лечебницы отец Никола Ярославич. Он и принес мне в палату-одиночку эту тетрадку. Возможно, он и сообщил об этом капитулу. Ведь ему было поручено опекать меня и присматривать за мной.

— А как выглядел человек с пистолетом? Во что он был одет? — спросил я.

— Он был в форме советского железнодорожника, — сказал Касьян. — Это меня и удивило больше всего!

Мне сразу вспомнились похороны митрополита Шептицкого и странный человек в форме железнодорожника, который сперва преследовал отца Теодозия, а потом порывался отвести его домой. Стоило рассказать об этом Садаклию.

Во время последней нашей встречи Садаклий, изрядно поседевший, рассказал мне о судьбе многих участников событий. Роман Герета, тайно убежав из Львова, находился в то время в Мюнхене и сотрудничал в газете «Христианский голос» вместе с капелланом батальона «Нахтигаль» Иваном Гриньохом. Тот самый митрат Василий Лаба, которого Шептицкий послал капелланом в дивизию СС «Галиция», забрался еще подальше — в Канаду — и обманывал верующих Ванкувера рассказами о «добром и святом» митрополите.

Стараясь не волновать отца Теодозия, я сказал:

— Дневник ваш я пока оставляю у себя. Так будет надежнее. Церковь всегда боялась тайн, которые могут повредить ее престижу. Но я убежден в том, что никакие угрозы и визиты разных «железнодорожников» на сей раз не смогут помешать нам рассказать правду о вашей дочери.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я имел уже возможность убедиться в том, что Садаклий интересуется все связанное с немецкой оккупацией во Львове. Я решил поехать к нему и рассказать о таинственном визите в келью отца Касьяна человека в форме советского железнодорожника, о том, как он с пистолетом в руках разыскивал дневник Ставничего.

— Все это очень интересно,— задумчиво проговорил Садаклий.— Как видите, церковь не оставляет в покое ни мертвых, ни живых. Да, «генерал во Христе» оставил нам свое наследство, и нам придется немало поработать, чтобы не только Ставничий, но и другие, испытывшие на себе ласку «бархатного диктатора», могли спать спокойно.

Садаклий встал из-за стола, подошел к сейфу и достал из него связку бумаг. Он долго перебирал их, а я терпеливо ждал.

Наконец он протянул мне пожелтевшую толстую тетрадь.

— Хочу помочь вашей работе. Вот мои записи об униатской церкви. Я много работал в библиотеке, в знаменитом львовском «Оссолинеуме», рылся в монастырских архивах. Возьмите на несколько дней эту тетрадь. Она избавит вас от бегания по библиотекам.

Мне оставалось только поблагодарить полковника.

Долго не мог я уснуть в ту ночь. Предо мною, точно кадры кинофильма, разворачивалась жизнь бывшего графа, владыки униатской церкви на Львовщине Андрея Шептицкого.

В своем послании духовенству от 10 июля 1941 года, которое было опубликовано не только в «Архиепархиальных ведомостях», но и на страницах так называемой «светской» фашистской прессы, «генерал во Христе» писал:

«Там, где нет еще управления громады и местной милиции (читай «полиции». — В. Б.), надо организовать выборы общественного совета, войта и начальника милиции. Если же нельзя будет провести выборы без партийных раздоров, которые являются руиной и несчастьем нашего дела, душепастырь ДОЛЖЕН своей властью назначить войта, советников и начальника милиции, напоминая верующим необходимость послушания сначала для немецкой военной, а впоследствии и гражданской власти...»

«...Надо также обратить внимание на людей, которые искренне служили большевикам... опасаться их и не допускать ни к какой общественной работе».

«Душепастырь обязан иметь наготове флаг немецкой армии, т. е. красный флаг, а на нем на белом фоне должна быть вышита свастика...»

Таким образом, уже из этих советов становится ясно, что та самая греко-католическая церковь, которая, если верить клерикалам, «не вмешивалась в политику», с первых дней немецкой оккупации не только приветствовала оккупантов, но и принимала прямое участие в создании органов гитлеровской администрации, призванных помогать немцам грабить Украину.

«Победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага!» — вещал граф Андрей Шептицкий в своем пастырском письме, написанном 1 июля 1941 года, на второй день после захвата старинного украинского города гитлеровцами.

5 июля 1941 года митрополит Шептицкий обратился с «новым» словом к духовенству и верующим архиепархии: «Каждый душепастырь обязан в ближайшее воскресенье после получения этого призыва отправить благодарственное богослужение и после песнопения «Тебя, бога, хвалим...» провозгласить многолетие победоносной немецкой армии...»

Как только гитлеровцы ворвались во Львов, в митрополичьи палаты на Святоюрской горе поспешил с визитом давний приятель Шептицкого, участник переговоров с генералом Деникиным от лица «Украинской армии» в 1919 году, а затем профессиональный разведчик и доктор теологии Ганс Кох.

Он поселился в палатах митрополита, этот профессор истории Восточной Европы Кенигсбергского университета,

галицкий немец, бывший сотник «Украинской армии», а в то время гауптман в отделе военной контрразведки («Вермахтс абвер») доктор Ганс Кох. Вместе с ним гостем митрополита стал его сотрудник доктор Р. Фель — специалист по польским и украинским делам, которого мы тогда еще не знали...

Митрополит предоставил свои палаты под штаб-квартиру немецкой разведки, которая вместе с «эйнзатцкомандо Галициен» провела во Львове целую серию карательных операций, в том числе и расстрел большой группы ученых города. И Ганс Кох, и Фель, и командир частей «эйнзатцкомандо Галициен» СС бригаденфюрер Эбергард Шенгард и его заместитель штандартенфюрер СС Ганц Гейм часто навещали митрополита, советовались с ним, пользовались самыми различными услугами, включая винный подвал под капитулом, который предоставил им старый австрийский разведчик, по кличке «Драгун», носивший теперь мантию митрополита.

Первого августа 1941 года во Львов приехал генерал-губернатор Ганс Франк со своим ближайшим советником по украинским вопросам полковником СС Альфредом Бизанцом, старым знакомым митрополита, и провозгласил акт о включении Галиции в генерал-губернаторство. Еще раз стало ясно, что ни о какой «самостоятельной Украине» и речи быть не может. Ганс Франк передал власть во Львове первому губернатору «провинции Галиция» доктору Карлу Ляшу. Ганс Кох и поручик СД Северин Байгерт, навестив местных «самостийников», сказали им просто, по-деловому: «Сидите, панове, тихо и не рыпайтесь, а попробуйте нос поднять — пеняйте на себя».

«Хотя немецкая политика делает большие ошибки против украинцев, но все-таки ее целью не является перечеркнуть нас, как народ...» — говорил в лихолетье немецкой оккупации тот самый митрополит, до этого не раз прочитавший «Майн Кампф» Адольфа Гитлера — книгу-программу нацизма, в которой четко и определенно была провозглашена колонизация всех украинских и других славянских земель и постепенное превращение славян в нацию рабов!

15 сентября 1941 года в ворота подворья собора святого Юра въехало несколько черных лимузинов с гитлеровскими флажками на радиаторах. Охрана из эсэсовцев окружи-

ла палаты митрополита. Из машин вышли губернатор Карл Ляш, его ближайшие сотрудники — шеф внутренних дел Отто Бауэр (застреленный впоследствии нашим разведчиком Николаем Кузнецовым), шеф по делам науки и культуры Кассельских, шеф пропаганды Райш и городской староста Куят. Сопровождаемые священниками, они проследовали в покои «князя церкви».

Задержанные нами впоследствии нацисты, которые в тот день были в капитуле, дали показания, что прием длился до позднего вечера. Рекой лились вина и отборные коньяки. Восседа в своем митрополичьем кресле, Андрей Шептицкий шутил на немецком языке. Почтенные гости были вполне довольны приемом и тем радушием, с каким их встретил митрополит.

Даже после разгрома и окружения под Сталинградом той самой Шестой армии гитлеровцев, которая захватывала в июне 1941 года древний Львов и в разведке которой служил Ганс Кох, митрополит Шептицкий делал все, чтобы загнать как можно больше «волонтеров» в дивизию СС «Галичина». Шептицкий освятил знамена этой четырнадцатой дивизии СС, послал в нее капелланами самых отборных и любимых им священников, а протопресвитером дивизии назначил доктора богословия и ректора Львовской духовной семинарии Василия Лабу.

На флажках дивизии СС «Галичина» были начертаны хвастливые надписи «На Москву!», но дошла она всего-навсего до Брод, откуда летом 1944 года днем и ночью доносились во Львов и в палаты митрополита отзвуки орудийной канонады. Большую часть эсэсовцев, благословленных митрополитом, перемололи советские наземные войска и засыпала градом бомб советская авиация. Совесть не мучила седовласого митрополита, пославшего на верную гибель одиннадцать тысяч украинских хлопцев и сделавшего жертвой своей провокации Иванну Ставничую.

Факты, факты, одни факты читал я в тетради Садаклия. Их никто не смог бы опровергнуть, даже если бы поднялся из гроба сам седовласый митрополит, лучше чем кто-либо умевший представлять черное белым.

Да простит мне читатель литературную вольность! Этими-то фактами я и насытил «размышления» владыки в его бессонные ночи, когда не мог он не понимать, что рушится на глазах у всех все то, что воздвигал он десяти-

летиями и чему служила целая армия подчиненных ему униатских священников.

Жизнь митрополита, посвященная всецело тому, чтобы тихо, хитро, искусно сеять страшное зло, дает еще и поныне свои ядовитые всходы. Трупный яд опасен для живых, и потому знать его формулу обязан каждый.

Убежали Иван Гриньох, митрат Василь Лаба, ближайший оруженосец Шептицкого епископ Иоанн Бучко, некогда судивший Теодозия Ставничего. Папа римский водрузил кардинальскую шапку на голову преемника Шептицкого митрополита Иосифа Слипого — заклятого врага коммунизма.

Кто предал Иванну Ставничую, теперь ясно. На древней львовской земле выросло новое поколение людей. Ветер с Востока развеял мрачные тучи суеверий и лжи. Перед сотнями тысяч юношей и девушек широко открылись двери школ и университета, где некогда орудовали каблаки и гупалы. Но молодые люди, не видевшие своими собственными глазами ни лихолетья немецкой оккупации, ни кровавого террора бандеровщины, ни хитрых провокаций церковников, должны знать, чего стоила борьба их отцов и братьев за счастливую жизнь народа, воссоединенного со всей родиной. Пусть же не забывают они этой борьбы и задумаются еще раз над тем, кто предал и толкнул в могилу украинскую девушку Иванну.

1944—1968

Львов — Москва

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Белов. Об этой книге и ее авторе . . .</i>	5
Похороны	11
«Драгун»	17
За монастырской стеной	27
«Обеды, как у мамы»	32
Получаю тетрадь	37
Допрос Питера Крауза	38
Герете нужна жена	41
Письмо из Львова	44
Все рушится	46
Действовать!	48
Каблак действует	51
Владыка утешает	57
Кольцо высокопреосвященства	62
Нежданые гости	64
Зубастая невеста	67
Журженко не спится	71
Юля боится «длинных рук»	73
На чистую воду	76
Заметают следы	79
Пришли телеграммы	83
Анонимка	86
Выстрел на перроне	91
«Туда заходить нельзя!»	93
По следу	96
Вилла «Францувка»	99
«Переселенец»	102
В больнице	105
Громы кары божьей	108
«Дас ист Лемберг»	111
Попались	117
Встреча на вокзале	121
Святой военкомат	125
На горе Вроновских	129

Обман раскрыт	134
Трамвай задерживается . . .	137
Тайное становится явным . .	142
Ножницы	145
Ночной концерт	148
Погоня	153
Прощай, монастырь!	157
Подземелье под собором . . .	159
Есть вода!	162
«Рота присяги»	165
Совет митрополита	170
Под землей светлее	172
Тысяча бочек тишины	176
Засада	183
На Лонцкого	186
Важный гость	192
«Сюрприз»	199
Прозрение ли?	208
Пылают всюду свечи	212
Послесловие	218

Спецредактор А. В. Белов, кандидат философских наук

Для старшего школьного возраста

Владимир Павлович Беляев

КТО ТЕБЯ ПРЕДАЛ?

П о в е с т ь

ИБ № 5567

Ответственный редактор Н. С. Аравина. Художественный редактор Р. М. Кононова. Технические редакторы Л. Н. Никитина и Н. Ю. Крапошнина. Корректоры Э. Н. Сизова и Е. И. Щербакова. Сдано в набор 17.09.81. Подписано к печати 14.01.82. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,71. Уч.-изд. л. 11,74. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4368. Цена 55 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»



55 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ **КТО ТЕБЯ ПРЕДАЛ?**